

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

## КРЫМ

РОМАН\*

### Глава девятнадцатая

День Победы был солнечный, восхитительный. Улицы — влажные, голубые. Стёкла окон — драгоценные и сияющие. Деревья — в изумрудной дымке. На бархатных клумбах пламенеют тюльпаны. В фонтанах шумят и плещут струи. Триумфальная арка великолепна в своем античном величии. Большой театр — торжественный, пышный, со своей колоннадой и чёрной квадригой. Кремлёвский дворец над алой стеной — янтарный, с белыми кружевами.

Такой видел Москву Лемехов, вольно откинувшись на мягком сиденье, в лёгком костюме, слыша нежный шелест шин по асфальту. Он был приглашён на парад. Его машина с правительственными номерами и кремлёвским пропуском преодолевала полицейские посты. Постовые любезно открывали ему путь на Красную площадь.

Он вышел на Васильевском спуске и мимо Василия Блаженного, похожего на волшебное соцветие, поднялся по брусчатке на площадь. Она распахнулась перед ним в своём великолепии — чёрно-алая, в блеске, окружённая башнями, шпилями, рубиновыми звёздами и золотыми орлами. В хрустальном перезвоне курантов, в окриках и военных командах, в шеренгах, в колыхании знамён. Лемехов был счастлив: площадь, знакомая и любимая с детства, узнавала его, принимала в свои солнечные объятия.

Его проводили на трибуну вблизи Мавзолея, где уже собрались члены правительства, командирующие округов, генеральные конструкторы, главы корпораций. Лемехов раскланивался, пожимал руки, обменивался праздничными поздравлениями. Все были знакомы, встречались на заседаниях правительства, на производственных совещаниях в институтах, на полигонных испытаниях.

— Покажите товар лицом, Евгений Константинович. Какие новинки вы приготовили? — министр культуры радушно улыбался, не торопясь отпустить руку Лемехова.

— Погодка-то самая лётная, Евгений Константинович. Знай наших! — глава авиастроительной корпорации указал пальцем в синее небо, в котором понесутся сегодня над площадью серебристые гремящие вихри.

— Жаль, что не можем показать на площади подводную лодку. Колёс не предусмотрели — вот беда! — шутливо сетовал глава судостроительной корпорации, здороваясь с Лемеховым.

\* Журнальный вариант. Окончание. Начало в № 8 за 2014 год.

Лемехов улыбался, шутил, чутко вслушивался, всматривался. После всех своих интервью, после выступления на съезде, после поездки в Сталинград, где толпа называла его президентом, он старался обнаружить новое к себе отношение. И казалось, что это новое, заискивающее отношение появилось.

Трибуны были полны: ветераны в орденах и медалях, военные атташе в экзотических мундирах, именитые артисты и художники — все шумели, обнимались, целовались, позировали перед телекамерами. И вдруг затихли, разом повернулись все в одну сторону, к Мавзолею, который был занавешен огромным трёхцветным полотнищем. Туда, к этому полотнищу, скрывавшему кристалл Мавзолея с мраморной инкрустацией “Ленин”, прошли президент и премьер-министр. Оба невысокие, в тёмных костюмах, улыбаясь всем общей улыбкой, окидывали взором близкую трибуну. Лемехов старался поймать взгляд Лабазова, остановить этот взгляд на себе. Но тот обвёл блуждающими глазами трибуну, одаривая своим вниманием сразу всех, и отвернулся. Ему поднесли кресло, и он сел. Рядом уселся премьер, и это вызвало на трибуне лёгкий ропот.

— Должно, не здоров, трудно стоять, — с сочувствием произнёс старый генерал-лейтенант с потускневшим золотом на советских погонах.

— А Леонид Ильич Брежнев стоял весь парад, хотя ноги едва держали, — ответил ему генерал армии, который помнил десятки прежних парадов.

Площадь дышала, переливалась. Плотно, брусками, стояли войска. В их неподвижности была жизнь, нетерпение, готовность двинуться мощным потоком, волна за волной пройти по брусчатке. Все ждали счастливой минуты, когда двинется этот рокошущий, блистающий вал.

Гулко, с мегафонным звоном, полетели над площадью команды. Линейные, вытягивая ноги, как журавли, блестя штыками, словно по струнке шли вдоль площади, и брусчатка блестела, как чёрное стекло.

Грянул марш, бодро, бравурно. Из Спасских ворот появился чёрный старомодный, великолепный в своей советской старомодности автомобиль, в котором стоял министр обороны. Навстречу ему покатился другой автомобиль, ветеран былых победных парадов. Две машины съехались в центре площади. Командующий московским гарнизоном рапортовал министру обороны, и казалось, их автомобили приветствуют друг друга, улыбаясь хромированными радиаторами, хрустальными фарами, чёрным, сверкающим на солнце лаком.

Лемехов любовался тем, как машины плывут вдоль недвижного строя. Звучал марш. Прерывался. Что-то бессловесно провозглашал министр. И ему в ответ, как эхо в горах, гремело лишённое слов приветствие и рокошущее, как камнепад, “Ура”.

Лемехову казалось, что он участвует в богослужении. Площадь была храмом, и все собравшиеся участниками таинственной литургии, которая возможна только на этой священной, намоленной площади.

Министр обороны объехал войска, вышел из машины и приблизился к президенту. Тот встал — невысокий, спокойный, — принимал рапорт министра:

— Товарищ Верховный главнокомандующий!

Лемехов вдруг остро, в счастливом предчувствии, увидел себя на месте Лабазова. Ему, статному, широкоплечему, с волевым спокойным лицом, рапортует министр. Войска, затаив дыхание, с обожанием смотрят на своего президента. Площадь, мерцающая брусчаткой, посылает ему тысячи стеклянных лучей.

Это восхитительное знание, доступное только ему, взволновало его. Он оглядывался, не угадал ли кто-нибудь в нём будущего президента. Но все внимали выступлению Лабазова. Старый генерал-лейтенант, чтобы лучше слышать, приложил ладонь к уху.

Речь Лабазова показалась Лемехову вялой и бесцветной, указывала на недостаток энергии, на болезнь. Площадь с войсками была чашей, переполненной пьянящей силой, а Лабазов казался блеклой чайнкой, случайно упавшей в этот жаркий настой.

Но уже гремел оркестр, пели трубы, грохотали барабаны, и первая “коробка”, печатающая шаг, двинулась по брусчатке во всём своём великолепии.

Шли офицеры академий, десантники, морские пехотинцы. Впереди — командиры, ладонь у виска, страстно, жадно взирали на президента. Сверканье клинков, боевые знамена, прижатые к груди автоматы. Лица трепетали в порыве воли и преданности. Лемехов чувствовал сгусток страсти и силы, в котором исчезала отдельная судьба, превращаясь в слепое стремление, в готовность умирать, ломиться сквозь ревущую сталь. Под музыку маршей эти свежие, исполненные красы и бравяды мужчины уходили на битву, и Лемехов шёл вместе с ними, обречённый на смерть под гром барабанов.

Последняя “коробка” покинула площадь, исчезла на Васильевском спуске. Музыка смолкла. В тишине несколько минут площадь оставалась пустой. Потом раздался рокот, окутанная металлической дымкой, на площади показалась техника. Лемехов смотрел, как на мягких шинах ровным строем катят бронемшины “Тигр”. Командиры в люках, плещется знамя, сияют воронёные стволы пулеметов. Лемехов помнил эти машины на испытаниях, когда они проваливались в водяные ямы, карабкались на каменистые склоны, чавкали в раскисшей глине. Он знал конструктора этих машин, знал заводы-изготовители, знал приграничные бригады, куда поступили на вооружение эти разведывательные броневики. И каждое возникавшее на площади *изделие* вызывало у Лемехова сдержанную радость, мысли о громадных производствах, лабораториях, рабочих коллективах, объединённых его волей и разумением. Он был причастен к новым образцам вооружений, которые, как миражи, появлялись на площади.

Шли новые БТРы, похожие на ящериц, способные воевать в горах, поднимая в зенит свои мощные пулемёты. Звенели и стучали, как каштанеты, боевые машины пехоты, с усиленной бронёй, с двигателем, проверенным в песках и арктических льдах. Мощные и грациозные, в синем дыму, шли танки, колыхая тяжёлыми пушками, с ребристой бронёй, зенитными пулемётами, пусковыми установками для ракет.

Лемехов испытующе, из-под бровей, смотрел на дело рук своих. В каждом БТРе, в каждом танке был и его труд, его упрямая воля. Машина, проплывая мимо, безмолвно посылала ему знак своей признательности.

Шли тяжеловесные самоходки, сотрясая землю. Тягачи скребли гусеницами брусчатку, тянули за собой дальнобойные гаубицы. Катились установки залпового огня с трубами, из которых в адском огне вылетают свистящие вихри, плавят скалы, превращают города в пепелище.

По площади, построенная в аккуратные ряды, смиренная в своей сокрушительной мощи, двигалась война, и Лемехов был творцом этой угрюмой стихии.

Военные атташе не уставали фотографировать. Старые генералы что-то громко говорили друг другу, перекрикивая шум моторов. Министр культуры, поймав взгляд Лемехова, поднял вверх большой палец.

Лемехов был сосредоточен, исполнен сдержанного волнения, сопрягал себя с этой мощью, её порядком, размеренным неодолимым движением. Эта мощь воплощала в себе государство. Здесь, на священной площади, среди окаменевшей истории, государство было живым её продолжением. Оно было творящей силой, которая вбирала в себя урожаи минувших веков, свивало в пучок судьбы живых поколений, устремляло в туманное будущее свой невидимый стебель. Лемехов был государственным, слугой и работником. Он был избранныком, в котором Государство Российское обретало свое цветение.

На площадь, шелестя гусеницами, выкатывали зенитно-ракетные комплексы. Те, что сопровождают наступление танков, отбивают воздушные атаки, превращают в огненную пыль вертолёты противника. Следом катили ракетно-пушечные установки “Панцирь” — оружие бесконтактной войны. Когда стаи крылатых ракет, запущенные с самолётов и кораблей, несутся на города, “Панцири” перехватывают их в полёте, окружая города непробиваемой стеной обороны. Эти совершенные установки Лемехов недавно инспектировал в Туле. И теперь собирался в Сирию, где в пекле войны “Панцири” прикрывают Дамаск.

Громадные, как лежащие горизонтально заводские трубы, появились перехватчики ракет, которые могли сбивать их встречным ударом.

Казалось, площадь прогибается от непомерной тяжести, когда пошли по ней “Тополя” и “Ярсы”, похожие на железных медведей. В их коконах таились баллистические ракеты, и при их появлении все военные атташе повскакивали с мест, нацелили аппараты. Ракеты угрюмо шли мимо, туда, где ждал их стоцветный храм.

— А теперь наш черёд, — произнёс глава авиастроительной корпорации, взглянув на куранты, которые смыкали свои золотые стрелки. — Наш, говорю, черёд, Евгений Константинович.

Небо уже звенело, рассечённое стреловидными крыльями, отточенными фюзеляжами, которые возникали и тут же исчезали за кремлёвскими башнями. Трибуны ахнули, когда всё небо над площадью закрыл стратег “Белый лебедь”, а следом, почти касаясь его плоскостей, мчались прозрачные тени фронтовых бомбардировщиков, перехватчиков, истребителей.

Самолёты накрыли небо звенящим шатром и скрылись за кремлёвскими звёздами, оставив в лазури невесомую гарь.

Парад завершился. Президент и премьер покинули площадь. На трибунах вставали, обнимались. У старого генерала в глазах блестели слёзы.

— Встретимся на приёме, — министр культуры благодарно жал Лемехову руку, словно тот одарил его великолепным зрелищем. Лемехов предвкушал приём, надеясь увидеть президента и попросить о встрече.

Через несколько часов в Кремлёвском дворце состоялся приём. В банкетный зал по эскалатору густо, как в метро, поднимались званые персоны: губернаторы и министры, лидеры думских фракций и военачальники, известные артисты и художники. Кидались обниматься, трясли друг другу руки, обменивались радостными взглядами. Лемехов, улыбаясь и здороваясь, исподволь всматривался в лица, теперь подозревая в каждом члена тайного ордена “Жёлудь”, о котором накануне поведал ему Верхоустин. Но в лицах известных врачей и адвокатов, генералов и конструкторов не проглядывала их потаённая сущность. Тайна витала рядом, не давая себя обнаружить.

Стол, за которым оказался Лемехов, находился недалеко от подиума, где обычно появлялся президент, обращаясь к гостям с приветствием. Затем он спускался с подиума и обходил несколько ближних столов, держа в руке бокал шампанского. Лемехов надеялся чокнуться с Лабазовым и попросить о свидании.

Стол был уставлен закусками, бутылками, сиял хрусталём и фарфором. Собравшиеся за столом были хорошо знакомы Лемехову. Дружески здоровались, поздравляли друг друга с праздником.

— Был прекрасный парад, Евгений Константинович, — произнёс министр финансов, белокурый, с мягким, чуть ватыным лицом, — Я готов простить вам чрезмерные расходы на оборону. Хотя, конечно, траты огромны.

— Безопасность стоит любых денег, Антон Филиппович. Будем кормить свою армию, а не чужую, — Лемехов положил на тарелку министра ломоть красной рыбы.

— Я знаю, вы собираетесь в Сирию, Евгений Константинович, — замминистра иностранных дел, любезный, с утончённым усталым лицом, украсил свою тарелку сёмгой, севрюгой, говяжьим языком и креветками, словно создавал экспонат для выставки современного искусства. — Я связался с нашим послом в Дамаске. Он будет постоянно с вами, даст исчерпывающую информацию.

— Сирийцы настаивают на продлении контракта по “Панцирю”, — ответил Лемехов, наблюдая, как замминистра кладёт рядом с розовыми креветками фиолетовые маслины. — Надеюсь на вашу поддержку, Степан Трофимович.

Банкир “Промбанка”, тучный, розовощёкий, с элегантной бородкой, позволял официанту наливать в бокал золотистое, с серебряными пузырьками шампанское:

— Хочу сообщать вам, Евгений Константинович, что наш банк открывает новую кредитную линию специально для вашей оборонки. Условия льготные.

— Всегда приятно иметь друзей-банкиров. Обдерут, как липку, но дружески, — пошутил Лемехов.

— Не нападайте на банкиров, Евгений Константинович. Не ущемляйте в их лице права человека. Хотя, конечно, они не совсем люди. Скорее, боги, — мелко засмеялся седой лысоватый глава правозащитного комитета, известный своей программой десталинизации страны.

— А всё-таки быть на Волге городу Сталинграду, Андрей Евсеевич, — поддел его Лемехов и увидел, как зло заблестели маленькие глазки правозащитника.

Официанты раскладывали закуски, наливали шампанское. Лемехов, поддерживая необязательную беседу, гадал, не является ли кто-нибудь из этих именитых людей членом тайного ордена “Жёлудь”.

Голос с восторженным придыханием, пролившийся откуда-то сверху, возвестил:

— Президент Российской Федерации Юрий Ильич Лабазов!

Все потянулись на этот певучий голос, единодушно вставали, и на ярко озарённый подиум вышел президент, невысокий, ладный, точно и изящно переставлявший ноги, с лёгкой отмашкой левой руки, с выправкой офицера. Все неотрывно смотрели, как он приближается к стойке в центре подиума.

Лемехов остро следил за его движениями и обнаружил в поступи едва заметную ритмию, словно каждый чёткий шаг и безукоризненная осанка причиняли ему боль.

Президент подошёл к стойке. Появился служитель с бутылкой шампанского и бокалом. Наполнил бокал и передал президенту. Лабазов принял бокал, обвёл зал приветливым, одинаковым для всех взглядом:

— Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Эта Победа добыта нашими отцами и дедами ценой великих жертв и утрат. Она принадлежит всему человечеству. Россия гордится тем, что она является родиной Великой Победы. Будем достойны этого всемирно-исторического подвига. За Победу! — он поднёс бокал к губам и ровно, спокойно выпил.

Все воодушевленно чокались, наполняя зал стеклянным перезвоном. Банкир, чокаясь с Лемеховым, лукаво прищурил глаз и произнёс:

— За нашу Победу!

Лемехов ждал, что Лабазов спустится с подиума и направится к столам. И тогда, ударяя своим бокалом в бокал президента, Лемехов договорится с ним о встрече.

Но Лабазов опустил бокал на стойку и покинул подиум, всё с теми же едва заметными сбоями в походке, которые были вызваны болью.

Праздество продолжалось, но Лемехов потерял к нему интерес, разочарованно осматривал зал.

Министр финансов, осторожно отпив половину бокала, произнёс:

— Всё-таки наш президент умеет превратить политику в увлекательный театр. Умеет внести в обыденность искусную интригу.

— Что вы имеете в виду? — спросил банкир.

— Опубликован шорт-лист преемников на пост президента. Конечно, в нём значатся премьер-министр, глава Совета Федерации, глава Думы, глава Администрации президента. Но кроме них, заявлена ещё одна неназванная фигура. Не из титульного списка. Какой-то особо любимый президентом деятель. Вы не знаете, кто это, Евгений Константинович? — министр, лукаво улыбаясь, обратился к Лемехову.

— Даже если бы Евгений Константинович знал, то не ответил бы, — правозащитник понимающе усмехнулся.

— Я уже сказал вам, Евгений Константинович, в Дамаске вас встретит посол, и вы рассчитывайте на его всяческое содействие, — сказал замминистра иностранных дел.

Лемехов увидел, как через зал идёт генерал ФСО Дробинник, доверенное лицо президента. Он выполнял его особые поручения, формировал список визитёров. Лемехов поднялся и поспешил навстречу генералу.

— С праздником, Евгений Константинович, — Дробинник дружелюбно пожал руку Лемехова, глядя на него прозрачными глазами, в которых, как икринки, мерцали тёмные точки.

— С Великой Победой, Пётр Тихонович, — дорожа его дружелюбием, ответил Лемехов.

— Ну, как, удалось поохотиться? — спросил Дробинник. Его узкое лицо было бледным, и только пересекавший его шрам странно розовел. — Я улучил два денька и махнул на вертолётё под Талдом. Привёз трёх гусей.

— А я, как цепями, прикован. Сам, как гусь.

— Я знаю, вы побывали в Волгограде. Призывали вернуть ему имя “Сталинград”. Я, признаться, того же мнения. Даже сказал об этом шефу. А он ответил, что ещё не время. Пусть люди созреют. Тогда, быть может, проведём референдум.

— Хотел просить вас о любезности. Мне необходимо повидаться с президентом. Обсудить неотложные проблемы космической отрасли. В нашем лунном проекте возникли заминки. Устройте мне встречу с Юрием Ильичом.

Дробинник смотрел на Лемехова спокойными, прозрачными, как талая вода, глазами, на дне которых притаились тёмные икринки.

— Я постараюсь. Когда вы вернётесь из Сирии, позвоните мне. Думаю, шеф согласится вас принять.

Они обменялись рукопожатиями, Дробинник двинулся через зал, и многие, увидев его, вставали.

Гости покидали банкет. Лемехов уходил вместе с двумя знаменитыми врачами, кардиологом и нейрохирургом. Шёл между ними, шутил:

— В таком обществе мне не страшны ни тромб в сердце, ни опухоль в мозгу.

Купола Успенского собора казались золотыми, запущенными в Космос шарами. Их резные кресты, как антенны, принимали из Мироздания священные послания.

## Глава двадцатая

В тетрадах отца Лемехов обнаружил стихотворение, написанное твёрдым отцовским почерком перед его отъездом в последнюю роковую командировку:

*На сиреневой опушке,  
В малахитовой воде  
Бирюзовые лягушки  
Мне вещали о беде.*

*И следила взглядом зорким  
Воронёная беда.  
И чернела за пригорком  
Смоляная борода.*

*Это будет в новолунье  
На неведомой войне.  
Бирюзовые квакуны  
Зарыдают обо мне.*

Этот отцовский стих, исполненный предчувствий, поразил его. Словно писал его не отец, а он сам, отправляясь на “неведомую войну”. Гуляя по лесной дороге с Верхоустиным, он видел эту сиреневую опушку, малахитовую воду в придорожной канаве, бирюзовых лягушек. Всё это было явлено ему перед тем, как он прочёл стихотворение отца. Судьба отца, как неотвратимая волна, наплывала на него. Вовлекала в стремнину, которая вначале их разлучила, а теперь сулила встречу. Он перечитывал вещий стих, и его, как и отца, мучили предчувствия.

Он отправлялся в Сирию инспектировать поставки бронетехники и зенитно-ракетных комплексов. Страна, ещё недавно благополучная и ухоженная, горела и разрушалась. Гибли христианские монастыри и мечети. Взрывались электростанции и гидросооружения. Исламские боевики малыми группами и большими отрядами, оснащённые стрелковым оружием и гранатомётами,

непрерывно проникали в Сирию из Ирака, Иордании, Ливии. Бородатые, опалённые пустыней, неутомимые и беспощадные, они захватывали города, устраивали казни, обвешанные взрывчаткой, ложились под танки правительственных войск. Сирийская армия, обученная для большой войны с Израилем, не справлялась с летучими боевиками, которые возникали среди цветущих селений, как призраки, и исчезали из пылающих руин, как дурные видения. Войска приходили в обезлюдевшие города и видели распухшие на солнце трупы и надписи на стенах, сулившие смерть Сирии и её союзнице России. В этой войне неявно участвовали десятки стран, и она была готова превратиться в огромную войну всего Ближнего Востока с последующим перетеканием в Мировую. Сирии грозили удары авиации и крылатыми ракетами с американских кораблей и самолётов. Русские “Панцири” прикрывали небо Дамаска, готовые сбивать атакующие цели на дальних и близких подступах.

Лемехов отправлялся в Сирию узнать истинные потребности сирийских зенитчиков и способствовать увеличению военных поставок.

Но помимо этой очевидной цели, он преследовал ещё одну. Он хотел лично увидеть войну, хотел понять стихию, которая питала его деятельность, объясняла его нескончаемые труды, хотел оказаться среди смертей и опасностей, которые рождало оружие, оказаться целью, по которой били автоматы, сесть в боевую машину пехоты, по которой стрелял гранатомёт, оказаться на боевом вертолёте, ускользающем от инфракрасной ракеты. Как сказал Верхоустин, “услышать лязг пуль по броне”. Он хотел стать президентом России, изучившим проблемы безопасности не в бункере генштаба, а на усыпанной осколками земле, под очередями пулемётов.

Теперь, накануне поездки, его томили предчувствия. Ему казалось, что эта неведомая война издалека, через моря, пустыни и горы, протягивает к нему свои огромные, жилистые руки, перевитые синими венами, влечёт к себе слепо и неуклонно, отрывает от дома, от любимого многоцветного светильника, от оранжереи с любимыми деревьями и плавающим белоснежным цветком. Эти руки не имеют туловища, а исходят прямо из разгромленных городов, сгоревших броневиков, бегущих по дорогам погорельцев. И там, среди развалин, на каком-нибудь разорванном тюфяке сидит бородач с автоматом, и в этом автомате уже находится пуля, которая сразит Лемехова. И эта далёкая неясная война будет его первой и последней войной.

Он вспомнил, как отец уезжал в свои военные командировки в Анголу, в Мозамбик, в Эфиопию. Как снаряжала его мать, и в глазах отца появлялось печальное, обречённое выражение. Мать целовала эти печальные глаза и плакала.

Теперь Лемехов понял эту печаль. Отец, как и он теперь, томился дурными предчувствиями. Одно из них сбылось у жёлтой реки Лимпопо.

Лемехов доставал из-под рубахи натальный серебряный крест, целовал, молился, чтобы пуля, дремлющая в автомате бородача, его не настигла.

Ночь перед отъездом он провёл с Ольгой. Они ужинали вдвоём. В оранжерее любовались белым цветком виктории регии, следя за скольжением тиниственных рыб. Ольга играла на флейте свой новый ноктюрн, который посвятила ему. Лемехову казалось, что музыка похожа на медленно стекающий мёд, на перламутровые переливы розовой раковины.

В спальне они растворили окно и лежали в изнеможении, глядя на туманные весенние звёзды.

— Я тебя умоляю, не уезжай. Ты можешь отменить эту ужасную поездку?

— Не могу, я должен ехать.

— Найди какой-нибудь повод. Сошлись на болезнь, на что угодно. Только не уезжай.

— Все решено, я завтра еду.

— Поверь моему предчувствию. Будет плохо. Будет ужасно. Тебя убьют.

— Я вернусь через несколько дней.

— Там война, там зверство. Там свирепые, жестокие, неумытые палачи. Убивают детей, насилюют женщин. Я видела отрезанные головы. Тот, кто тебя посылает, желает твоей смерти. Умоляю, останься.

— Не отпевай меня. Я живой. Через несколько дней мы будем так же лежать, твой локоть в темноте будет так же светиться. Под окном расцветёт твой любимый сиреневый куст.

— Ты обещал, что мы весной поедem во Францию. Будем плавать на яхте. Пить чудесное вино. Ходить на приморские рынки. На прилавках, среди кусочков льда, лежат диковинные глазастые рыбы, розовые осьминоги, пахнущие морем устрицы. Мы поедem на автомобиле в Париж, будем любоваться картинами Ренуара и Матисса. У собора Нотр-Дам на берегу Сены я сыграю тебе на флейте мой ноктюрн. Ведь ты обещал.

— Всё так и будет. Вернусь, и поедem во Францию

— Сегодня днём я ходила в церковь, поставила свечу перед образом Николая Угодника. Чтобы он тебя защитил. Ты думай обо мне. Каждую минуту думай, и эта мысль тебя сбережёт. Тебе не захватят в плен эти ужасные бородачи. Тебя минует пуля, минует болезнь. Думай обо мне.

— Я думаю о тебе каждую минуту.

— Мы должны быть вместе. Я люблю тебя. Мне кажется, я мечтала о тебе с самого детства. Ждала тебя, и ты пришёл. Хочу, чтобы мы не расставались, чтобы у нас была семья, были дети. Хочу посвятить тебе всю мою жизнь.

— Люблю тебя.

Она наклонилась над ним. Обрушила ему на лицо душистые волосы. Целовала его, а он, задыхаясь от её поцелуев, закрыл глаза и увидел тонкую свечу, которую она поставила в серебряный подсвечник, и голубей, взлетающих над Сенной у Нотр-Дам де Пари, и какую-то светлую, могучую реку, уходящую с земли в небеса.

И наутро, когда они расстались, предчувствия не оставляли его. Он испытывал необъяснимую тоску, словно кто-то не пускал его, отговаривал. Но он побеждал свою слабость, как побеждал её когда-то отец. К дому подъезжала чёрная “Волга”, они с матерью провожали отца. Видели, как за стеклом исчезает отцовское лицо.

Лемехову захотелось перед отъездом на “неведомую войну” побывать на могиле матери, получить от неё напутствие.

На могиле тянулся вверх и был готов распуснуться цветом с оранжевым бутонem. На кресте повисла упавшая хвойная веточка. Из земли пробивались папоротники, свёрнутые в мохнатые спирали, которые скоро превратятся в резные перья.

Лемехов сидел на скамеечке, и ему казалось, что мама сидит с ним рядом, и оба они смотрят на крест, где начертано её имя.

Он вдруг вспомнил, как в раннем детстве она играла с ним. Шевелила под одеялом пальцами ног, и он, как котёнок, бросался на это шевелящееся одеяло. Вспомнил, как она учила его мыть уши, проникая во все извилины ушной раковины. Вспомнил, как читала книгу о старом Петербурге, о своём любимом городе, где познакомилась с отцом. И позже, гуляя вдоль каналов, он любовался отражением фонарей, останавливался перед колоннадами и дворцовыми решётками, смотрел, как дрожит на невиской воде зыбкое золото иглы Адмиралтейства. Всегда вспоминал маму, молодую, прекрасную, читающую малиновый томик о старом Петербурге.

Здесь, у материнской могилы он успокоился, поскольку был окружён материнским теплом. И после смерти она продолжала любить его, оберегать материнским обожанием. Лемехов сделал глубокий вдох. Вдохнул светящийся воздух, запах смолы, голос одинокой птицы, тепло, исходящее от невидимой мамы. Снял с креста еловую веточку, взял с собой в дорогу, как берут талисман. Пошёл к ожидавшей машине.

В своей поездке он отказался от сопровождающих лиц, от охраны, свёл к минимуму протокольные процедуры. В аэропорту его поджидали заместитель Двудликов, “канцлер” Черкизов и Верхоустин. Все поместились за столик в vip-зале, каждый желал Лемехову удачной поездки и счастливого возвращения.

— По истребителю пятого поколения я всё подготовил, Евгений Константинович, — Двудликов не скрывал своей тревоги, провозжая Лемехо-



ва в опасную командировку. — Будут конструкторы. Будут представители завода. Будут лётчики-испытатели. Будут командиры соединений, куда мы направим первые машины. Вы вернётесь, и мы можем провести совещание.

— Если я в срок не вернусь, проводите его без меня, Леонид Яковлевич.

— Нет! Это невозможно! Без вас невозможно! И зачем вы только едете, Евгений Константинович! — его возглас был полон такой тревоги, такого искреннего нежелания отпускать Лемехова в опасное странствие, такой преданности и обожания, что Лемехов растроганно коснулся его руки:

— Лёня, друг милый, со мной ничего не случится. Я тебе так благодарен. Всё работа, работа, и день, и ночь, и пять, и десять лет. И минутки не найду сказать тебе, как я тобой дорожу!

Это признание ещё больше взволновало Двустикового. Напоминало откровение перед вечной разлукой.

— Нет! — глухо произнёс он и отвернулся, чтобы спрятать слёзы.

— У нас, Евгений Константинович, партия бурно строится, — Черкизов сказал это с нарочитой бодростью, желая сгладить неловкость. — К нам проявляют интерес представители посольств и международных организаций. Вышли на нас люди Социнтерна, атташе китайского и шведского посольства. Как вы смотрите на то, чтобы устроить встречу с дипломатами и рассказать им о партии?

— Встречу нужно тщательно готовить, чтобы она была представительной и одновременно непринуждённой. Согласитесь, это ещё не вручение верительных грамот, но первая репетиция. — Лемехов видел, как весело заиграли глаза Черкизова, похожие на чёрно-фиолетовых жужелиц.

— Я буду ждать вашего возвращения с нетерпением, — произнёс Верхоустин. — Обещанная встреча состоится, о ней оповещены её участники. Лучше всего нам собраться на яхте, подальше от посторонних глаз и ушей. Проплыть от Москвы до Углича. Там оборвалась династия Рюриковичей, а вместе с ней и великое царство. Мы будем говорить о новом царстве. Углич станет для нас исторической вехой.

— Помню, как вы своим магическим взглядом вырвали из морской пучины ракету. Надеюсь, что вы станете невидимо сопутствовать мне на войне. — С вами Пушкин, — улыбнулся Верхоустин.

Металлический голос объявлял посадку на сирийский рейс, следующий из Москвы в Дамаск. Настала пора прощаться. Микроавтобус доставил Лемехова к трапу самолёта.

Он летел в бизнес-классе, в сирийском полупустом самолёте. Российские рейсы были отменены. Аэропорт Дамаска обстреливался, и российские граждане добирались в Дамаск через Бейрут или прибегали к услугам сирийской компании. Та, невзирая на риск, продолжала совершать перелёты.

Лемехов отказался от напитков и ночного ужина. Потребовал плед и забылся под бархатный рокот двигателей. Погрузился в зыбкий сон. В этом поднебесном сне он видел московские фонтаны и цветущие клумбы, тонкие пальцы возлюбленной, перебиравшие клавиши флейты, синие, как васильки, глаза Верхоустина. Взмывала из моря ракета. Тянулась лесная дорога с бирюзовыми лягушками в малахитовой воде. Золотился жёлудь, который он извлёк из плотной чашечки, и любовался его солнечным блеском. Все это мчалось за ним, окутанное туманной тревогой, невнятной тоской.

У трапа его встречали российский посол и военный советник, представители сирийского МИДа, переводчик и несколько молодых сирийцев в тёмных костюмах и галстуках, с вьющимися проводками переговорных устройств.

— С благополучным прибытием, Евгений Константинович, — сказал посол, широколицый, с седеющим бобриком, в лёгкой рубашке, открывавшей загорелую шею. — С вашей стороны было немалым риском отправляться сирийским рейсом. Сегодня ночью аэропорт был обстрелян. Бои идут в двадцати километрах от трассы.

— Спасибо, что встретили, Махмуд Ахметович. Какие уточнения в программе?

— Мы согласовали программу с сирийской стороной, и предлагаем её на ваше усмотрение, — посол обратился к представителю сирийского МИДа,

они обменялись несколькими фразами на арабском, и посол протянул Лемехову лист бумаги. — Здесь, Евгений Константинович, учтены ваши пожелания. Едем в город, располагаемся на территории посольства, которая надёжно охраняется. Отдыхаете. Во второй половине дня вас примет президент. Вечером вы встретитесь с аппаратом военного советника и обсудите проблемы военных поставок. Так, Иван Гаврилович? — посол повернулся к военному советнику, молодому, лысоватому человеку, чьё лицо и залысины были покрыты персиковым загаром, какой привозят туристы с египетских курортов. — Завтра утром, — продолжал посол, — вас повезут на позиции “Панцирей”, и вы обсудите с сирийцами проблемы применения комплексов. Затем, как вы просили, сирийцы доставят вас в расположение бригады, которая ведёт бои в окрестностях Дамаска.

Лемехов читал программу, в то время как посол говорил о чём-то с представителем сирийского МИДа.

— Доктор Фарид предлагает вам остановиться не в резиденции посла, а в отеле “Шам”. Он утверждает, что там больше комфорта, вы будете в центре Дамаска и сможете познакомиться с жизнью города. Безопасность вам обеспечат. Добавлю от себя: я не советую принимать это предложение. В Дамаске неспокойно. Зачем рисковать?

— В городе действует агентура мятежников. О вашем прибытии станет известно, — произнёс военный советник, с осуждением взглянув в сторону сирийца.

— Я принимаю предложение доктора Фариды. Мне хочется почувствовать атмосферу Дамаска, — ответил Лемехов. Он увидел, как недоволен был его ответом посол, как дрогнули желваки на его широких скулах.

Расселись по машинам. Колонной, растягивая интервалы, мчались по пустому шоссе среди рыжих пространств, из которых веяла опасность. На обочинах попадались БТРы, в люках стояли солдаты, пулемёты указывали стволами в пустыню. Лемехов ехал в машине посла. Рядом с шофёром сидел охранник в бронежилете, с автоматом и рацией.

— Какая обстановка в стране? — Лемехов следил, как мелькают за стеклом чахлые пальмы, и жаркий ветер мотает их вялые плюмажи.

— Обстановка ухудшается. Треть страны под контролем повстанцев. К ним стало поступать тяжёлое вооружение, переносные зенитно-ракетные комплексы. В их рядах сражается турецкий спецназ и инструкторы из Иордании, — посол морщил переносицу, словно информация, которой он делился с Лемеховым, не раскрывала всю глубину трагедии.

— А как просматривается военное участие Ирана и Ливана? Они помогают президенту Асаду? — в машине было прохладно, пахло сладкими лаками, дорогой кожей. А за окном волновалась горячая степь, и хотелось опустить стекло, вдохнуть знойный ветер чужой земли.

— Иран прислал стражей исламской революции. Они охраняют некоторые государственные учреждения. “Хезболла” принимает участие в боевых действиях. Именно это позволило добиться перелома на отдельных участках фронта. Войска вновь контролируют Алеппо.

— А что из себя представляют повстанцы? В чём их идея?

— Восемьдесят тысяч головорезов, готовых убивать и умирать. Есть боевики из Ирака, есть из Ливии, из Индонезии, из Пакистана, с нашего Северного Кавказа. Исламский интернационал без единого центра, с сетевой структурой наподобие “Аль-Каиды”. Мне министр обороны рассказывал. Захватили в плен боевика из Бангладеш. У него пояс шахида и дорогое женское бельё. Спрашивают его: “Зачем тебе женское бельё?” — “А как же! — отвечает. — Когда меня убьют, попаду в рай и подарю девственнице дорогое бельё...” Посол говорил это без иронии, без презрения, мучительно растирая пальцами переносицу, словно скопившиеся в нём знания причиняли ему боль.

— Значит, армия не справляется? — спросил Лемехов. — Сводки, которые я читал в Москве, достаточно оптимистичны.

— Армия сражается на пределе возможностей, она предана Башару Асаду, но она несёт большие потери. Убыль в войсках не восполняется. К тому

же, у них устаревшая техника советских времён. Во время встречи с президентом вы услышите просьбу об увеличении поставок оружия.

— В Кремле понимают остроту ситуации. Иначе бы я не приехал.

— Если Сирия падёт, всё это разбойное полчище хлынет в Среднюю Азию и к нам, на Северный Кавказ. Борьба за Сирию — это борьба за Россию, — эти последние слова посол произнёс с тайным надрывом, будто не верил в благополучный исход войны. Не верил, что его сводки, аналитические записки, шифровки побуждают Москву действовать соразмерно опасности.

Лемехов заметил, что его дурные предчувствия рассеялись. Он больше не испытывал тоски. Слепящий свет солнца, желтизна холмов, стремительный бег машины, новые люди и новые впечатления — всё это возбуждало, веселило, обостряло чувства. Он испытывал азарт, какой бывает на охоте, когда приближаешься к неведомому лесу, к незнакомому озеру, к неоглядному полю, где таится добыча. Ты осторожно крадёшься, чутко вслушиваешься, ловишь каждую тень, готовясь к моментальному действию.

Они въехали в Дамаск, и вид горячего, благополучного города, полного машин, с многолюдными улицами, магазинами, островерхими минаретами окончательно его успокоил. Кругом была жизнь, суета, лавочки, супермаркеты, памятки на площадях, вывески и реклама. Хотелось окунуться в это восточное многолюдье, которое, казалось, не ведало о войне.

Они вышли у старомодного и респектабельного отеля “Шам”. Горячий воздух с парами бензина и запахом сладких цветов на мгновение опал лицо. Они прошли сквозь стеклянную карусель дверей и оказались в прохладном, уходящем ввысь пространстве с ярусами этажей, с которых свисали зелёные лианы, вьющиеся растения, глянцеви́тая листва и сочные стебли. “Висящие сады Семирамиды”, — подумал Лемехов, поднимая глаза к стеклянному, пропускающему солнце куполу. Он перевёл взгляд на шелепящий фонтан с мраморной чашей.

— Ещё раз подумайте, Евгений Константинович. Может быть, всё-таки в резиденцию?

— Мы встретимся вечером, Махмуд Ахметович. Рад знакомству.

Они расстались с послом, который передал Лемехова на попечение сирийцам. Среди представителей МИДа оказался переводчик Али с хорошим русским, что объяснялось годами учёбы в Советском Союзе.

— Мне выпала большая честь работать с вами, Евгений Константинович, — Али был худощав, с длинной шеей, с влажными ласковыми глазами, какие бывают у детских поэтов и застенчивых мечтателей. — Все эти дни я буду с вами. Вы можете обращаться ко мне с любыми просьбами.

Али и представитель МИДа поднялись с Лемеховым на этаж. Здесь, в небольшом холле, отдельно от прочих, располагался номер. В резных креслицах сидели два молодых охранника, оба в чёрных пиджаках, которые будто набухли в подмышках от скрытого под ними оружия.

— Здесь вы в полной безопасности, — произнёс Али, впуская Лемехова в номер. — Вы хотите отдохнуть? Или погулять по городу? До встречи с президентом ещё много времени.

— Хочу погулять.

— Тогда через двадцать минут я жду вас внизу.

Номер был прекрасный, с мебелью, инкрустированной перламутром. На столе красовалась драгоценная ваза. Пол устилал восточный ковёр. Она выходила на островерхую мечеть, на мерцающую, как слюда, улицу и на туманные горчичные горы в слепящем солнце. Лемехов подумал, что земля, на которой он оказался, описана в священных текстах. Здесь жил Ной, совершил своё злодеяние Каин, здесь ступала нога Иисуса, и Савл стал Павлом. И если отрешиться от политики и войны, от современного шумящего города, то вдруг заструится музыка библейских времен, зазвучат исчезнувшие языки, и военный переводчик Али предстанет библейским пастухом, окружённым кроткими овцами.

Лемехов принял душ, сменил тёмный костюм на светлый, переложил из одного кармана в другой еловую веточку, ту, что снял с креста на материнской могиле. Спустился в холл, увлекая за собой двух молчаливых охранников.

Сады Семирамиды роняли вниз зелёные плети. Шелестел и плескался фонтан. На диванах, на расшитых подушках непринуждённо сидели люди, и служитель подавал на подносе чашечки чая и кофе, бережно расставляя их на узорных столиках. Слышался смех, громкая арабская речь. Ничто не напоминало о войне, которая приближалась к городу. И только в стороне, в узорных креслицах сидели два автоматчика, поглядывали на стеклянную дверь, пропускавшую посетителей.

Появился Али. Улыбаясь фиолетовыми губами, он смотрел на Лемехова глазами кроткого библейского овна.

— Евгений Константинович, может быть, вы хотите пообедать здесь, в ресторане? Или мы погуляем, и я отведу вас в ресторан с национальной арабской кухней?

— Дорогой Али, мы погуляем, а потом, перед визитом к президенту, пообедаем.

Они посетили базар — огромное торжище под стеклянной кровлей, расположенное в старом городе, — с бесчисленными лотками, лавками и витринами. В обе стороны густо валила толпа. Лемехову казалось, что его окунули в горячий вар, в вязкое накалённое месиво. Он медленно продвигался среди тюрбанов и долгополых облачений, смуглых лиц и блестящих глаз. Охранники были рядом, то пропадая, то возникая в толпе.

— Вы можете что-нибудь купить. Какой-нибудь сувенир, — произнёс Али.

— Хотел бы купить весь базар, так всё красиво и необычно.

На него вдруг нахлынуло восхитительное детское веселье, радостное обожание. Базар был разноцветным балаганом, в котором одни декорации сменялись другими, одни фокусники и затейники уступали место другим: юркие дети пускали вывес мигающих огоньками птиц, крикливые зывалы хватали покупателей за рукава и тащили к своим нарядным лавкам. Медные изделия сияли, как солнца: самовары всех мастей и размеров, чеканные чаши и чайники с грациозными шеями, ковши и котлы, в которых мог поместиться баран. Торговец в клетчатой шапочке ставил на полку медную лампу и был похож на волшебника, владеющего чудесным светильником.

Лемехов любовался музыкальными инструментами, которые, казалось, ждали музыкантов, чтобы зазвенеть, забренчать, запеть на восточной свадьбе среди ковров, босоногих танцовщиц, клубящихся благовоний. Он заглядывал в лавку с коврами, и каждый ковёр говорил о волшебных дугах, сказочных цветниках, райских садах. Хотелось улететь туда на этих коврах-самолётах. Война, которая ещё недавно тревожила, мучила страхами и предчувствиями, теперь отступила. Скрылась, занавешенная альми узорами и золотыми орнаментами. Кальяны, стоящие в ряд, были похожи на стеклянных птиц с гибкими шеями и изящными клювами. Резные табуреточки и столики, инкрустированные перламутром, ждали, когда начнётся чаепитие, и появится голубая ваза с виноградом и яблоками, зелёное эмалевое блюдо с восточными сладостями.

Базар ветвился, от него в обе стороны расходились улицы. Толпа напоминала гудящий пчелиный рой. Пламенели рулоны тканей. Тянуло дымом жаровен, ванилью, корицей, тмином.

У прилавков, где торговали драгоценностями, он купил золотое кольцо с прозрачным изумрудом. Представлял, как наденет его на гибкий, тонкий палец своей ненаглядной Ольги.

— Вам понравился базар? — спросил Али. Лемехов счастливо кивнул. Ему казалось, что мимо пронесли огромный разноцветный фонарь, и в душе осталось ликующее детское чувство.

Они покинули торговые ряды и вышли на сухую горячую площадь. Здесь возвышалась могучая мечеть. И словно ожидая их появления, на островеверхом минарете взвился в синеву голос, рыдающий, поющий, стенающий. Один, второй, третий. Страстный вихрь, огненный жгут, факел в лазури, плач и мольба. Казалось, над минаретом растворилось небо, и в лазурь помчались незримые силы, унося с земли слезную мольбу, которая достигла Того, к кому стремилась. И в ответ на землю лилась густая пламенная синева.

— Теперь мы можем посмотреть мечеть Аммиядов. Эта святыня всего мусульманского мира. Здесь во время Второго пришествия явится Христос. Он сойдёт на землю с минарета. Здесь покоится голова Иоанна Крестителя, и Иисус встретится с ним в мечети.

Лемехов был вовлечён в этот вьющийся, пламенный вихрь. Вслед за Али, окружённый людом, переступил порог мечети.

Сбросил обувь там, где уже во множестве стояли чупяки, сандалии, стоптанные туфли. По мягкому ковру прошёл в глубину мечети. Здесь было прохладно, высокие колонны уходили ввысь, поддерживая просторный купол. Мечеть была огромной, с резными нишами в стенах, пронизанных косыми лучами солнца, с зеленоватым светящимся саркофагом, где за стеклом виднелась обёрнутая тканью отсечённая голова Иоанна.

Лемехова охватила робкая радость, тихое благоговение. Он оказался в святилище другой веры, среди святынь другого народа, который пустил его, иноверца, в свою сокровенную обитель. Переводчик Али деликатно отошёл в сторону, оставив Лемехова одного.

Люди входили в мечеть, бесшумно ступали, раскладывали молитвенные коврики. Вставали на колени, падали ниц, распрямлялись. Омывающим жестом проводили ладонями у лица и снова падали ниц.

Мечеть наполнялась. Женщины в просторных облачениях и хиджабах усаживались вдоль стены, похожие на одинаковых чёрных птиц. Дети шалили и бегали, и их никто не останавливал. И звенели, рокотали, рыдали голоса муэдзинов, созывая людей на молитву.

Лемехов сел на ковёр, прислонился спиной к колонне. Ему было хорошо. Луч, падающий с высоты, зажигал на стене арабеску. От усыпальницы Иоанна струились сладкие благовония. Фигуры молящихся колыхались, как трава под ветром.

На кафедре, окружённый толпой, возвышался проповедник в белой чалме, тучный, с седой бородой. Он рокотал, увещевал, настаивал. Его голос то улетал к лазурному своду, то ниспадал к жадно внимавшей ему толпе. Воля и сила этого голоса побудила Лемехова встать.

Подошёл переводчик Али.

— Это кто? — спросил Лемехов.

— Имам Ахмад аль Бухари, самый влиятельный имам Дамаска. Он осуждает тех, кто напал на Сирию, тех, кто разрушает сирийские города.

— О чём говорит? — спросил Лемехов, вслушиваясь в бурлящий голос.

Проповедник поднимал указующий перст, словно в подтверждение своих слов ссылаясь на высший авторитет.

— Он говорит, что мусульманин должен быть очень внимателен. Должен внимательно исследовать все события, чтобы отличать добрые дела от злых.

Имам простирал руки к тем, кто внимал его проповеди. То ладонями вниз, словно заслонял их головы сберегающим покровом. То ладонями вверх, будто призывал людей оторваться от земных забот и сует и возвыситься до небес. То гневно вонзал пальцы, будто хотел пронзить ими заблудших и грешных.

— А теперь что говорит?

— Говорит, что нельзя совершать убийство. Нельзя слушать тех, кто призывает убивать людей. Говорит, что те, кто расстрелял заложников в Хомсе, это не мусульмане, а слуги шайтана.

Лемехов видел, как жадно люди внимают имаму, каким доверием светятся лица. Женщины у стены, не имея возможности приблизиться к проповеднику, тянулись к нему и были похожи на птиц, готовых взлететь.

Лемехов увидел в толпе темнолицего человека в визаной шапочке. Тот был выше остальных, словно привстал на носки, чтобы лучше внимать вещей проповеди. Из глаз его лилось фиолетовое пламя, и он хотел этим пламенем дотянуться до белой чалмы, до седой бороды, до воздетых рук.

— Нам нужно идти, — произнёс Али. — Вас ждут в резиденции президента.

Они направились к выходу, где им предстояло отыскать свою обувь.

— Вам понравилась мечеть Аммиядов? — спросил Али.

Лемехов услышал хрустящий удар. Тупой толчок в спину. Волну горячего ветра. Мгновенье тишины, словно был вышит весь воздух, и затем — стенающий вопль, крик ужаса, жалобный визг. Этот вопль и визг расшвыривали толпу, гнали её прочь от кафедры, разметали её в разные углы мечети. В открывшейся пустоте на тлеющем ковре веером лежали растерзанные люди. Одни были недвижны среди дымных огоньков, другие шевелились, ползли. Кафедра криво осела, и с неё свешивался имам, без рук, с лысой, потерявшей чалму головой, висящей на красных нитях.

Оглушённый Лемехов сквозь едкую гарь смотрел, как мечутся люди. Как женщины подхватывают детей. Как давится у выхода слепая толпа. На горящем ковре отдельно от убитых и раненых, на обрубке шеи, как на подставке, стояла чернолицая носатая голова в вязаной шапочке. Глаза у головы были открыты, и казалось, из них продолжают полыхать два фиолетовых факела.

## Глава двадцать первая

Потрясённый, Лемехов вернулся в “Шам-отель”. Охрана виновато, с повышенным рвением вела его через холл к лифту и потом по коридору к номеру. Али проводил его до дверей и печально сказал:

— Ещё недавно Дамаск был самым спокойным, красивым городом на Ближнем Востоке. А теперь он может разделить судьбу Багдада и Триполи. Я жду вас, Евгений Константинович, через полчаса в холле.

Лемехов встал под горячий душ, смывая с себя гарь, едкую окалину, каменную пыль. Смерть прошла рядом с ним, пылая фиолетовыми глазами, боконогая, в просторной накидке. Белая ткань свилась в завиток у его лица, и он почувствовал, как пахнул на него ветерок смерти.

“У сиреневой опушки, в малахитовой воде”, — вспомнились ему стихи отца. Уже из других миров отец предупреждал его об опасности.

Встреча с президентом Башаром Асадом состоялась в зале, уставленном золочёной мебелью. Они сидели в креслах под государственным флагом Сирии. На стене висел портрет отца нынешнего президента. Хафез Асад смотрел на сына, словно сострадал ему и винился перед ним в том, что передал в управление сыну благоденствующую страну, которая уже была заминирована чудовищной злобой и ненавистью. Теперь эта злоба и ненависть хлынули на сына, готовые его поглотить.

Лемехов говорил с президентом на английском. Произношение президента было безупречным:

— Я знаю о сегодняшнем несчастье в мечети. Дамаск встречает вас взрывами. Рад, что вы избежали взрывной волны. Имам Ахмад аль Бухари был близким мне человеком. Я советовался с ним по государственным и религиозным вопросам. Его убили за дружбу со мной.

— Я скорблю по поводу этой смерти. Лично для вас, господин президент, это большая утрата.

Башар Асад был худощав, строен. Движения его были грациозны. Длинную шею увенчивала небольшая красивая голова с аристократическими усиками. Глаза были внимательны и спокойны. В них притаилось упорное ожидание, которое могло показаться обреченностью. Лемехов рассматривал его благородное лицо и сравнивал его судьбу с судьбой Садама Хусейна и Муаммара Каддафи — мучеников власти, которых поглотили тьма и насилие.

За окном резиденции грохнуло, задрожали стекла, глухой удар кольхнул флаг над головой президента. Лемехов вздрогнул.

— Это бьют “катушки” в районе правительственного аэродрома. Сейчас бои идут в пригороде Дамаска, в Дерайе. Бригада спецназа выбивает оттуда мятежников.

— Мы в России восхищаемся стойкостью сирийской армии. Вашей стойкостью, господин президент, — произнёс Лемехов, вся плоть которого помнила недавний взрыв в мечети, взрывную волну, толкнувшую его в спину.

— Россия для Сирии — главный союзник. Россия помогает нам выдерживать дьявольский натиск агрессии, заговор Запада и Соединенных Штатов против нашей страны. Политическая поддержка России блокирует в ООН решение Совета Безопасности начать воздушную войну против Сирии.

— Президент Лабазов прекрасно понимает проводимую Америкой “стратегию хаоса”, уже превратившую множество стран в бесформенные руины. Здесь, в Сирии, благодаря вашему мужеству, господин президент, этой “стратегии хаоса” поставлен заслон.

Лемехов, касаясь рукой золочёного кресла, глядя на маленький узорный столик, инкрустированный перламутром, чувствовал ревущую волну хаоса, сметающую государства, рвущую заклёпки, на которых держатся мировые устои. Сорный ветер готов был ворваться в нарядную залу и умчаты этого изысканного человека с его флагом, шёлковым галстуком, упрямым и обречённым взглядом.

— Я вижу в президенте Лабазове верного друга и союзника. Он является мудрым руководителем, который вернул России ведущее место в мире. Народы смотрят с надеждой на президента Лабазова, признают его заслуги перед человечеством.

Лемехов вдруг подумал, что скоро, когда воссияет его звезда, и он станет президентом России, вот так же в золочёных гостиных и парадных кабинетах лидеры государств будут произносить в его адрес хвалы, называть его оплотом и надеждой народов.

Служитель на серебряном подносе принёс чашечки кофе, сласти. Бережно и бесшумно расставлял угощение на резном столике.

— В чём особенно нуждается сирийская армия, ведя упорные бои с врагом? Чем может помочь Россия? — Лемехов пригубил густой огненный кофе, ощутив его терпкую горечь.

— Мы остро нуждаемся в вертолётных двигателях. Парк вертолётов изношен, и мы, лишаясь вертолётов, теряем свои преимущества. Нам необходима бронетехника. Наши боевые машины используются с советских времён, они израсходовали свой ресурс. Кроме того, мятежники вооружены гранатометами, которые причиняют нашим машинам ощутимый урон. И, конечно, воздушная оборона. Мы не исключаем возможности бесконтактной войны, как это было в Ираке или Ливии. Нападение возможно со стороны Средиземного моря, с авианосцев Шестого американского флота, со стороны Персидского залива, с аэродромов Израиля. Ваш зенитно-ракетный комплекс “Панцирь” прикрывает Дамаск на главных направлениях, но остаются неприкрытыми несколько секторов. Нам необходимы дополнительные дивизионы “Панцирей”, которые сделают оборону Дамаска непробиваемой.

— Нам известны потребности сирийской армии. Сегодня вечером я провожу совещание с нашими специалистами и уточню количественные показатели наших оборонных поставок.

Они продолжали обсуждать положение на фронте, суть религиозного конфликта, участие в войне Турции, Иордании и Саудовской Аравии, роль Ирана и “Хезболлы”. Лемехов убеждался, что перед ним непреклонный лидер, утончённый интеллект, оригинальный стратег, сделавший свой выбор. Никакая опасность не заставит его покинуть страну. До последнего дыхания, даже окружённый врагами, он будет сражаться и героически примет смерть.

— Передайте президенту Лабазову мою искреннюю благодарность, — сказал в заключение Башар Асад. — Россия должна гордиться таким президентом и очень его беречь.

Покидая приёмный зал, Лемехов слышал, как позванивают стекла от залпов “катюш”.

Вечером в посольстве он совещался с дипломатами, военными советниками, генералами разведки, специалистами, обслуживающими боевую технику. Уточнялись потери сирийцев в вертолётах, боевых машинах и танках.

Определялся объём поставок артиллерийских снарядов и ракет для установок залпового огня. Рассматривались позиционные карты с нанесёнными на них батареями “Панцирей”, направления возможных ударов натовской авиации. Собранные специалисты казались осведомлёнными, бывали в войсках. Они делились горькими наблюдениями. И на каждом из них лежала едва заметная окалина бесконечно длящейся войны.

Утром Лемехов проснулся от сердечного перебоя, словно его клюнула невидимая птица. Полутёмный номер с восточной вазой. Ковёр с полосой солнца. Скопившийся за шторой утренний свет. Это было утро его войны, его смертельного риска, быть может, смерти. Ради этого утра он явился в стреляющую страну, чтобы искусить судьбу. Быть может, его мессианский проект является просто фантазией, которую оборвёт случайная пуля, или он пронесёт свою мечту сквозь взрывы и пули.

Лемехов отдернул шторы. Утреннее солнце хлынуло в комнату. За окном возвышались озарённая мечеть, несколько пальм, виднелась улица с шевелящимся сподяным блеском. За ними высились сиреневые горы в тени, и казалось, под мягким одеялом лежат великаны.

Лемехов смотрел на горы. Там не было дорог и строений, а только мягкие тени, в которых укрылось таинственное библейское время. Там обитали пророки, шли волхвы, случались чудеса, а теперь всё это укрылось под сиреневым пологом, недоступное для прозрения.

“Неужели это мои последние видения? И мне суждено погибнуть под чужим солнцем, в чужой земле, смешавшись с прахом исчезнувших безымянных народов?”

В холле его ждал Али, любезный и приветливый, с тихой печалью в глазах:

— Нас ждёт командир бригады. Он был очень польщён вашим желанием посетить его штаб.

— Какая обстановка в районе Дерайи?

— Идут бои с применением артиллерии и танков.

“Неужели я больше не увижу эти вьющиеся лианы, ниспадающие из купола до самой земли? И этот фонтан с шелестящими струями? И служителя, несущего на подносе фарфоровый чайник и чашечки? Ради чего я приношу эту жертву? Быть может, сослаться на нездоровье, на вчерашнюю контузию и вернуться в номер? Я уже испытал судьбу, и она меня сохранила. Я её избранник, любимец. Хватит её искушать”.

— Машины нас ждут, — произнёс Али. Лемехов вышел сквозь стеклянную карусель на солнечное пекло.

Они мчались по Дамаску на двух машинах в сопровождении охраны. Вначале город клубился толпой, теснился жилыми кварталами, мерцал автомобильным потоком. Потом жилые дома расступились, потянулись лавки, склады, ремонтные мастерские, за которыми открывалась степная пустыня с холмами. Лемехов продолжал мучиться, цеплялся взглядом за мелькавшие вывески, за велосипедиста, за двух женщин у обочины. Словно хотел задержаться, остановить слепое стремление туда, где поджидала его смерть.

Они свернули с шоссе на дорогу, изгрызенную гусеницами. Запрыгали на рытвинах. Открылось поле аэродрома с несколькими вертолётами, быть может, приготовленными для эвакуации Башара Асада.

Грохнуло так, что колыхнулась машина. В степи за аэродромом поднялась горчиная пыль. Это выпустила ракеты установка залпового огня, и ракеты улетели туда, куда продвигался Лемехов.

Впереди, сквозь слепящее солнце, возникло видение, мутно-коричневое, в едкой дымке, похожее на мираж. Город, без блеска окон, мёртвый, похожий на глиняный термитник, принял их в свои улицы, окружил дырами окон, облезлыми фасадами, проломами в стенах.

— Дерайя! — воскликнул Али, и в его возгласе было что-то птичье, то-скливое и беспомощное.

Штаб бригады размещался в разрушенном доме. Над всеми окнами фасад был испачкан жирной копотью. У подъезда стояла боевая машина пехоты, истрёпанная, запылённая, с заплатами на бортах. Она извела удары



гранатомёта и пулемётные очереди. Расхаживали солдаты. Валялись какие-то одеяла, раздавленный гусеницами велосипед, блестели осколки посуды. Сквозь развороченное окно первого этажа были видны офицеры, работала рация. Из соседних кварталов раздавались редкие выстрелы. Стреляла пушка.

Командир бригады, молодой генерал, принял их этажом выше, в квартире, сквозь которую пролетел снаряд, оставив сквозные проломы. Мебель обгорела, свисала разбитая люстра, кровать была полна обугленного тряпья.

Генерал раскрыл объятия, и они с Лемеховым дважды прижались друг к другу, щека к щеке.

— Я слышал, господин генерал, что ваша бригада особенно отмечена вниманием президента. Сражается на самом важном направлении, защищая Дамаск.

Генерал, не понимая русскую речь, улыбался мягкими губами, шевелил тёмными усиками, и его смуглое лицо обращалось попеременно то к Лемехову, то к переводчику. Али перевёл. Генерал произнёс: “Хоп”, — и стал говорить, указывая рукой в разбитое окно, за которым высились здания с зияющими окнами.

— Он говорит, — переводил Али, — что бригада выбила противника из Дерайи. Остался один укреп район на окраине, и туда подтягиваются танки.

Их окружили офицеры штаба, все молодые, все черноусые, в несвежей, закопченной униформе. Внимательно слушали их беседу.

— Генерал предлагает выйти на балкон. Там не так жарко, — сказал Али.

Они сидели на тесном балконе за столиком, у которого пуля отколола розовую щепку. Им принесли чай в чашечках, найденных среди разгромленной утвари. Дул прохладный ветерок, в котором присутствовали едкие струйки гари. С ровными промежутками, металлически чавкая, била пушка.

— Как происходят боевые действия? — повторил вопрос Лемехов.

“Хоп”, — сказал генерал и стал отвечать, поводя рукой, словно прикасался к проломленным крышам и закопченным фасадам.

— Он говорит, — Али переводил очередную порцию слов и умолкал, позволяя генералу продолжить рассказ, — говорит, что бандиты врываются в город, захватывают мэрию и расстреливают администраторов. Их расстреливают на площади, на виду у народа. Трупы подвешивают на фонарях. Народ пугается и начинает убежать из города. В него стреляют, и люди покидают город. Бандиты занимают пустые дома и устраивают опорные пункты. Сажают на перекрёстках снайперов, минируют главные улицы.

Лемехов заметил, как дрожат губы Али, и глаза наполняются слезной мукой. Рассказ генерала действовал на него ужасающе. Лемехов удивлялся ранимости этого военного переводчика, так и не привыкшего за два года войны к её ужасам и жестокостям.

Городской квартал был освещён солнцем, с прямоугольными тенями, как на картине художника-кубиста. Люди отсутствовали, оставалась жестокая геометрия смерти. Лемехов вглядывался в уступы домов, прислушивался к отдалённому лязгу пушки. В этих призмах, кубах, в изрезанных осколками фасадах таился неведомый бородач с зелёной перевязью на лбу, с потёртым автоматом, в котором застыла пуля, предназначенная Лемехову.

— Он говорит, что бои в городе протекают тяжело и стоят больших потерь. По снайперам стреляют танки, а потом здание захватывает пехота. Но мятежники успевают перебежать в соседнее здание и оттуда открывают огонь. Сейчас весь город очищен. Остался последний опорный пункт на окраине.

Лемехов знал, что в этих развалинах таится его смерть. И он не может уклониться от встречи с ней, не может остаться с генералом на этом балконе с чашечкой чая. Он явился сюда, в безвестный город, чтобы убедиться в своей богоизбранности, в божественном предначертании. Если его мечта не безумное заблуждение, не бред воспалённой гордыни, то пуля его минует. Или достигнет, погасив и мечту, и солнце.

— Али, спросите генерала, могу ли я попасть на передний край, туда, где идёт бой?

Али перевёл, и Лемехов видел, как удивлённо взлетели тёмные брови генерала, и под ними замерли вишнёвого цвета глаза.

“Хоп”, — сказал генерал и стал говорить, обводя руками кубическую картину квартала.

— Он говорит, что это опасно. На пути следования засел снайпер и ведёт прицельный огонь. Надо передвигаться на боевой машине пехоты, под броней.

— Проверим, надёжна ли русская броня, — сказал Лемехов.

Генерал ещё раз молча, испытующе посмотрел на Лемехова и произнёс своё бодрое “Хоп”.

Они погрузились в боевую машину пехоты, в её десантный отсек: переводчик Али, генерал и Лемехов, напротив — три молодых солдата с автоматами.

“Господи, помилуй!” — подумал Лемехов, когда двери захлопнулись. Машина взревела и пошла, дёргаясь и качаясь, изрыгая дым, который залетал в полутёмный отсек. С одной стороны Лемехов чувствовал худое плечо Али, с другой на него наваливалось сильное тело генерала. Острые колени солдат упирались в его ноги. Их несло, встряхивало, качало на поворотах. Закупоренный в железном отсеке, Лемехов чувствовал, как гусеницы скребут камни, как машина проваливается в ямы, как лавирует среди невидимых препятствий. Он сжимался, ожидая удара, ожидая свистящего, пронзающего броню огня. Мысленно молился: “Господи, спаси и помилуй! Укажи мне путь! Если хочешь, убей меня! Или открой мне Свою милость и благоволение! Предаюсь Твоей воле, Господи!”

Он молился, призывая на помощь лучистую, как бриллиант, икону “Державной Богоматери”, и могилу мамы с весенним цветком, и те разноцветные стёклышки, которыми в детстве выкладывал потаённую лунку, и те негасимые карельские зори, когда плыли с женой по розовым водам, и голубую сосульку в зимнем окне.

Страшно ударило в борт, проскрежетало. Звук проник сквозь броню, ноющий, рвущий, выдирая сердце. Лемехов почувствовал, как что-то жестокое, жуткое рассекло его, крутилось в груди, наматывало жилы, сосуды, запечатывало горло лишним страхом.

Машину бросало из стороны в сторону. Она гремела гусеницами, старой броней, и через несколько минут встала. Двери отсека растворились, и солнечная пыль и едкая гарь хлынули внутрь машины.

Лемехов выбрался на волю. Кругом высились всё те же горчичного цвета дома, пустые окна, языки копоти. Толпились солдаты. Механик-водитель, белозубо улыбаясь, показывал свежие выбоины на броне, оставленные очередью. Генерал оглаживал выбоины, словно ласкал машину. Другие солдаты подходили, смеялись, хлопали друг друга по плечам.

Лемехов вдруг ощутил ликующую радость. Пули, хлестнувшие по броне, предназначались ему. Испытывали его. Испытывали его веру, его упование. Божий Промысел привёл его в сирийский разгромленный город, подверг испытанию, заставил усомниться, помог победить неверие. Усадил в боевую машину, хлестнул по машине свинцом, поместил между раскалённым свинцом и ужаснувшимся сердцем лист брони. И теперь этот Промысел окружил его молодыми солдатами, их смеющимися лицами, и от этих закопченных фасадов, от измыганной боевой машины он продолжит свой путь, своё триумфальное восхождение.

— Генерал говорит, что вы угодный Богу человек, — сказал Али. Генерал кивал, улыбался, трепал Лемехова по плечу. — Еще он говорит, что вы зовет танк и уничтожит снайпера.

Молодой солдат, один из тех, что сидел с Лемеховым в боевой машине, подошёл, пожал ему руку. Он был юношески худ, на безусом лице сияли глаза. Он был счастлив тем, что их опасный рейд окончился благополучно. Счастлив тем, что важный гость из России разделил с ним смертельную опасность. Счастлив тем, что на этой кровопролитной войне выдался ещё один день, когда можно смеяться, забросив автомат за спину.

Лемехов увидел на худой загорелой шее солдата алюминиевый крестик, висящий на простом шнурке. Указал на крестик:

— Ортодокс?

— Ортодокс, ортодокс! — закивал солдат.

Лемехов почувствовал внезапную слёзную нежность к солдату, к его почти детскому лицу, к худой незащитной шее, к алюминиевому крестик на сером шнурке. Расстегнул на себе рубаху, под которой его серебряный крест висел на золочёной цепочке. Снял крест и протянул солдату. Тот понял, восхитился. Снял с себя крест. Они обменялись крестами. Лемехов поцеловал алюминиевое распятие, а солдат приложил к губам серебро. Они обнялись, троекратно расцеловались. Теперь в этой арабской стране, на жестокой войне, у Лемехова был брат во Христе. Он станет молиться, чтобы пули его миновали.

Генерал направился в дом, где находился штаб батальона, чтобы вызвать по радиации танк. Солдаты поспешили за ним.

— Али, почему вы печальны? — Лемехов видел, как мучительно сдвинуты у переводчика брови, как переполнены слёзным блеском глаза. — Ведь всё замечательно. Сейчас прибудет танк и уничтожит снайпера.

— Здесь, в Дерайе, я жил с семьей. Жена и две дочки. Вон мой дом, — Али указал на соседнее здание с пустыми окнами, над которыми темнели языки копоти. Они чем-то напоминали страдальческие брови Али.

— А что с семьей? — Лемехов сострадал. Ему было неловко за недавнее ликование.

— Не знаю. Вы слышали, что говорил генерал. Все жители убежали из города. Я их ищу, но их нет ни среди живых, ни среди мертвых.

Заскрипело, заскрежетало. Из-за угла выкатил танк с провисшими гусеницами, с грязной бронёй, с тяжёлым кольханием пушки. Генерал с офицерами вышел из штаба, стал что-то объяснять командиру танка. Солдаты облепили броню.

— Вы не возражаете, если я пойду и посмотрю на мой дом, — сказал Али.

— Я пойду с вами, — сказал Лемехов.

Они перешли улицу, усыпанную битым стеклом и обугленными тряпками. За их спиной скрежетал, удаляясь, танк. Они приблизились к дому.

У подъезда был маленький газон, росло ухоженное деревце с глянцевыми листьями и розовыми цветами. На ветках висели окровавленные бинты. Их шевелил ветер. Али протянул к деревцу руку и тут же отдернул, боясь коснуться бинта. У входа стояла деревянная лавочка, на которой, видимо, отдыхали жильцы. На лавочке стоял аккумулятор с разломанным корпусом, из которого вылилась жидкость. Али погладил лавочку, и Лемехов видел, как дрожат его губы.

Они поднимались по лестнице, под ногами хрустело битое стекло, и казалось, Али подпрыгивает при каждом шаге, словно осколки впивались ему в стопы. На лестничных площадках двери квартир были распахнуты, виднелась разгромленная утварь. Али вжимал голову в плечи, будто кто-то из раскрытых дверей наносил ему удары.

На третьем этаже он остановился перед распахнутыми дверями. Качался, не решаясь переступить порог, словно там, за порогом не было пола, и он боялся провалиться в бездну. Шагнул. Лемехов видел, как заметался он по комнатам, подбирая разбросанные платья, книги, упавшие с потолка люстры. Стоял, прижимая к лицу розовое платье, целовал, вдыхал, не мог надыхаться.

В спальне на распахнутой кровати валялся грязный мужской башмак, желтели стреляные автоматные гильзы. На стене чёрной копотью были выведены арабские иероглифы, и Али заслонялся от этих жестоких каракулей. Зеркало было цело. Али взял лежащий на подзеркальнике женский гребень и смотрел на него, словно видел, как льётся сквозь гребень волна душистых волос. Лемехов смотрел, как Али отражается в зеркале, прижимая гребень к губам.

За окном грохнул танковый выстрел. Зеркало задрожало, и отраженье Али задрожало. Эхо выстрела смолкло. Зеркало успокоилось, а отраженье Али продолжало дрожать. Али рыдал, сотрясаясь плечами.

## Глава двадцать вторая

Лемехов возвращался в Москву через Бейрут и Стамбул. Стамбульский аэропорт был грандиозным месивом разноязычных народов, которые, сдвинувшись со своих насиженных мест, текли по миру, сталкивались, слипались, вновь распадалась, вовлечённые в кружение по континентам, словно искали и не находили заветного места.

Ночью в самолёте из Стамбула в Москву он погрузился в дремоту. Его сон напоминал мглу, в которой что-то рокотало, переливалось, струилось. Эта мгла вдруг сложилась в отчётливый образ. Он увидел купол, построенный из грубых камней, какие бывают в старинных палатах и храмах. Под этим куполом, глубоко внизу протекало действо — то ли многолюдное собрание, то ли церковная служба. Пёстрая толпа оживленных людей, огоньки, детские и женские лица. Купол над ними начинал сотрясаться, камни шевелились, крошились. Сверху на них давила чудовищная сила. Вся устойчивость кладки держалась на одном-единственном камне, помещённом в центр купола. Этот “замковый камень” дрожал, был готов упасть. И тогда вся груда камней обрушится на людей и раздавит. Он, Лемехов, подпирал руками “замковый камень”, не даёт ему упасть. Чувствует жуткое дрожанье свода, страшную силу, сокрушающую кладку. Руки его отекают кровью, жилы набрякли и рвутся. Он из последних сил удерживают “замковый камень”, чувствуя чудовищную, неземную природу этой кромешной силы.

Очнулся он от глухого толчка: самолёт выпустил шасси и снижался. За окном в утреннем свете зеленели подмосковные леса, сияли озёра и реки, переливались крыши посёлков.

В *vip*-зале он ожидал увидеть встречающих. Рукопожатия, приветливые лица, бодрые пожелания. Дорожный саквояж — в руки охранника. Беглый обмен впечатлениями. Глаза Верхоустина, которые станут подобны василькам, когда он услышит о “скрежете пуль по броне”. Уютный, с запахами лаков и кожи, салон автомобиля. По пути в Москву — несколько неотложных звонков. Голос Ольги напоминает переливы флейты. Сказать ей или нет о золотом кольце с изумрудом? И прямо с аэродрома, не заезжая домой, — на работу, проводить совещание работников космической отрасли, посвящённое “лунной программе”.

Он сидел в *vip*-зале, но встречающих не было. Он принялся звонить Двухлистикову — телефон молчал. Принялся звонить охране, но и та не откликнулась. Молчали телефоны Верхоустина и Черкизова. Он не понимал, что случилось. Встал и направился к выходу. На выходе он встретился с шофёром, который неуверенно приветствовал его.

— Что случилось? Сколько я могу ждать?

— Я не виноват, Евгений Константинович.

— Какой там “лунный проект”, если на земле сплошное разгильдяйство!

— Вот, смотрите, Евгений Константинович.

Шофер протянул ему правительственную газету, где на первой полосе, под рубрикой: “Объявления” было краткое сообщение:

“Указом Президента РФ освобождён от занимаемой должности заместитель председателя правительства РФ, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Е. К. Лемехов. Временно исполняющим его обязанности назначен Л. Я. Двухлистиков”.

Лемехов ошеломленно смотрел на заметку. Так стремительно несущийся автомобиль ударится в бетонную стену: секунда остановки, и затем начинается крушение.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава двадцать третья

Лемехов из аэропорта помчался на работу в Дом Правительства, чтобы там найти объяснение случившемуся. Заместитель Двулистиков, верный соратник, закадычный друг Лёня откроет ему интригу, объяснит недоразумение, поможет его уладить. Ошибка прессы, ложная информация, административная путаница — всё это будет устранено и исправлено. А виновные — будь то зловерные журналисты или нерадивые чиновники — подвергнутся жестокому наказанию.

Он почти бежал по коридору, приближаясь к своему кабинету, замечая, как редкие сослуживцы, встречаясь на пути, испугано шарахаются в сторону. Он готовился увидеть Двулистикова, подыскивал первые ироничные фразы, в которых должны отсутствовать возмущение и растерянность, а, напротив, должна присутствовать свойственная ему твёрдая властность. Та, которую он проявлял в своих отношениях с заместителем. Но когда он подбежал к кабинету, на дубовых дверях висела табличка, где чёрным по золоту значилось: “Заместитель председателя правительства Российской Федерации Двулистиков Леонид Яковлевич”.

Лемехов почувствовал, как что-то лопнуло в голове, и золотое превратилось в красное. Он смотрел на траурную чёрно-красную надпись, и мозг его заливало липким и жарким, как при кровоизлиянии.

Он шагнул в приёмную, увидев ужаснувшееся лицо секретарши, пролетевшей:

— Евгений Константинович!

Толкнул дверь в кабинет. За его рабочим столом, в его кресле сидел Двулистиков. Завершая разговор по правительственному телефону, он властным жестом возвращал трубку на место. И прежде, чем сосредоточиться на Двулистикове, Лемехов успел бегло осмотреть кабинет, обнаружив перемены. Исчезла фотография, на которой Лемехов стоял рядом с президентом Лабазовым на фоне “истребителя пятого поколения”. Её заменила фотография Двулистикова на фоне баллистической ракеты, готовой к старту. Произошли изменения на маленьком столике, где Лемехов собрал несколько “фетишей”, напоминавших о крупных производственных достижениях. Там находилась лопатка турбины сверхмощного авиационного двигателя, голубоватая линза прибора звёздной навигации, “умная пуля”, не ведающая промаха. Всё это исчезло, и на столике появился лакированный древесный корень, напоминавший лесного старичка. Двулистиков был равнодушен к лесным деревьяшкам, вытаскивая из них забавные фигурки.

Исчезновение любимых “фетишей” и замена их на чужого идола сразили Лемехова. Захват его рабочего стола и кресла, хозяйский жест, которым Двулистиков держал телефонную трубку, искоренение святынь, разрушение духовных символов, связывающих Лемехова с делом всей его жизни, — всё это было чудовищно.

— А ты не поторопился прилепить своё смехотворное имя к дверям моего кабинета? Не поторопился приволочь сюда своего дурного уродца? Своего деревянного чёрта, который мерещится тебе в каждом сучке? Не думаешь, что вся эта дурь будет сложена в мешок и выброшена на помойку? — Лемехов чувствовал, как едкая кислота жжёт горло, как разливается по жилам укусуная ирония, как презирает он сидящего в его кресле Двулистикова.

— Этот кабинет теперь мой. А ты — всего лишь посетитель, который вошёл без стука, вместо того, чтобы записаться на приём.

Двулистиков оставался сидеть, и Лемехова поразило его лицо. Всё те же маленькие, сдвинутые к переносице глазки, обведённые красной кромкой; тот же утиный нос в микроскопических каплях жира, те же плотно прижатые уши с белыми, словно отморозженными хрящами. Но в этом лице не было обычной угодливости, собачьей преданности, стремления угадать малейший каприз Лемехова и кинуться его исполнять. Лицо Двулистикова было

злым и жестоким. Лемехов напоролся на это лицо, как на невидимый кол.

— Как? Это говоришь ты, который слепо выполнял все, даже самые ничтожные мои поручения? Кто клялся мне в верности и любви? Говорил, что готов кинуться и заслонить меня от пули? Что я твой кумир? Что я статуя на носу корабля, которая указывает тебе путь в океане? И теперь ты говоришь, что я должен записываться к тебе на приём?

— Нет, ты не статуя на носу корабля. Ты не мой кумир. Я не кинусь заслонять тебя от пули. И больше никогда не выполню ни одного твоего поручения. Я ждал, когда ты придёшь в этот кабинет, в котором столько раз меня унижал. Ждал, когда ты придёшь, чтобы сказать тебе, как я тебя ненавижу.

Двулистиков произносил слова длинно, чтобы они звучали дольше и причиняли Лемехову больше боли. Так мучитель отрезает у жертвы кусочки плоти, насыпая в порезы соль.

— Я ненавижу тебя! Ненавижу сейчас, ненавидел вчера, ненавидел всю мою жизнь!

— Ты ненавидел меня? Столько лет ненавидел? Твоя ненависть была растянута на десятилетия? Ты сложился как личность в поле ненависти? Твой скелет, клеточная ткань, полушария мозга формировались в поле ненависти? — Лемехов был сокрушён. Его голос напоминал вопль: — Ты источник страшной заразы, от которой страдает жизнь. От таких, как ты, выбрасываются из моря киты. Пустыня пожирает Африку. Образуются озоновые дыры. Мы бы давно погибли, если бы подобные тебе ненавистники восторжествовали. Но твоё присутствие в мире уравнивают праведники. Святые и праведники спасают мир от таких, как ты!

Двулистиков хохотал. Его маленькие глазки, красные, как у вепря, мерцали. Он потирал пальцы, и они хрустели.

— Ты-то святой и праведник? Родную жену заточил в сумасшедший дом, чтобы не мешала развлекаться с красотками! Нарушил клятву верности, которую дал президенту Лабазову, и возмечтал его свергнуть! Вот тебя и сбили. И ты, кувыркаясь, упал и разбился. Я этому рад! Ах, как я этому рад!

— Ты подлец! — Лемехов чувствовал, как пол становится мягким, не держат ноги, и он готов провалиться в какую-то зыбкую топь.

— Не стоит уж нам портить до конца отношения, — мнимо успокаивал его Двулистиков. — Я тебе ещё пригожусь. Могу предложить место в одном из отделов. Нехорошо кидать в беде старых товарищей!

Лемехов видел жёлтые зубы во рту Двулистикова, чувствовал исходящий от него запах укуса. Хотел выкрикнуть какое-то страшное слово, но забыл его. Мычал, заикаясь. Хотел ударить Двулистикова острой стальной лопаткой от сверхмощной турбины, но вместо этой изысканной, как лепесток стального цветка, лопатки на столике торчал уродливый корень.

Лемехов, словно боясь провалиться в прорубь, будто перепрыгивая через промоины, как по тонкому льду выбежал из кабинета. Побежал по коридору к лифту.

На пути у него возник всклокоченный старик с крючковатым носом, весь в морщинах и складках. Глаза его безумно сияли:

— Бог-то есть! Есть Бог! Погнали тебя грязной метлой! Как мусор, как мусор!

— Вы кто? — старался обойти его Лемехов.

— Я Саватеев! Как умолял, упрашивал: “Оставьте меня на работе!” Нет, при всех растоптал! Я “Буран” запускал. Я его гладил, тёпленького, по загривку, когда он вернулся на землю. А ты меня — как промокашку! Теперь и тебя на помойку! У павлина хвост оципали!

Старик вцепился ему в рукав, не пускал. Лемехов оттолкнул старика. Минуя лифт, побежал вниз по лестнице. И вслед ему нёсся стариковский кашель и смех:

— Павлин! Бесхвостый павлин!

## Глава двадцать четвёртая

Он позвонил в Администрацию президента, желая добиться скорейшего свидания с Лабазовым. Но чиновник Администрации, всегда любезный и словоохотливый, замялся, услышав его имя, а потом, нетвёрдо, заикаясь, сказал:

— Невозможно, Евгений Константинович. Все свидания с президентом расписаны на два месяца вперед, а новые списки пока не составлялись.

Лемехов позвонил чиновнику протокола, который обычно приглашал его на встречу с президентом. Но чиновник холодно ответил:

— Видите ли, Евгений Константинович, вы теперь, как я понимаю, являетесь частным лицом. А это подразумевает совсем иную процедуру.

Он вдруг вспомнил, что есть человек, который может ему помочь. Этим человеком был генерал Дробинник, доверенное лицо президента, исполнитель его тайных поручений. Лемехов набрал номер генерала:

— Пётр Тихонович, я вернулся из Сирии. Вы сказали, что после возвращения я могу повидаться с президентом. Мне очень нужно. Помогите мне.

Дробинник некоторое время молчал. Потом произнёс:

— Вы же понимаете, Евгений Константинович, что обстоятельства изменились. В этих новых обстоятельствах президент откажется вас принять.

— Но почему, Пётр Тихонович? Это недоразумение, абсурд! Меня оговорили, какой-то враг, какой-то могущественный соперник. Уверю вас, если президент меня выслушает, он всё поймёт, и недоразумение рассеется. Помогите встретиться с президентом, умоляю вас!

— Думаю, что это невозможно.

— Объясните, что случилось! Хоть вы-то мне объясните! Выслушайте меня и доложите о нашем разговоре президенту. Умоляю, Пётр Тихонович!

Дробинник помолчал:

— Ну, хорошо. Через час встретимся в ресторане “Боттичелли”. Вы, кажется, любите этот ресторан?

Они встретились в полупустом ресторане среди античных колонн. Бесшумно скользили официанты в облачении флорентийских дождей.

— Что случилось, Пётр Тихонович? Почему эта нелепая отставка? Это какая-то ошибка! Президента ввели в заблуждение. Меня оклеветали!

Дробинник смотрел на него прозрачными, как апрельская вода, глазами, в которых темнели две чёрных икринки. Спокойно произнёс:

— Видите ли, Евгений Константинович, наш президент очень восприимчив к вопросам чести. Как офицер, он привержен чувству долга. Он держит свои обязательства перед соратниками, заслоняет их всей силой своего авторитета, если они споткнутся или совершат неточный шаг. Но он не выносит вероломства, предательства. Его предавали те, кого он вывел в люди, наделил достатком и властью. Его предал целый класс, который вдруг повалил на Болотную площадь и потребовал для него смертной казни. Он, я знаю, относился к вам очень сердечно, рассчитывал на вас, связывал с вами далеко идущие планы. И был, Евгений Константинович, разочарован в вас.

Им принесли чай и фруктовый торт. Официант с изящным поклоном разливал в розовые чашки душистый чёрно-золотой чай. Присутствие официанта мешало им говорить. Но как только тот скрылся за колонной, Лемехов заговорил, жарко, нестройно, вонзая одну незавершенную фразу в другую:

— Я преклоняюсь перед президентом, служу ему верой и правдой!.. И правдой, и верой!.. Для меня президент — глава Государства Российского, которому я поклоняюсь, как божеству!.. Не президенту, разумеется, а Государству Российскому!.. Но и президенту, и президенту тоже!..

Дробинник смотрел на Лемехова, как смотрит естествоиспытатель на биологический вид. В глубине его прозрачных глаз трепетали дробинки.

— Вы создали партию “Победа”, которая задумана вами как президентская партия. Присутствие Патриарха на съезде многим напоминало помазание на царство. Вы не скрывали своих президентских притязаний.

— Это ошибка, ошибка!.. Неверное толкование!.. Партия “Победа” — президентская партия, да, но президента Лабазова!.. Новая идеология, новый рывок!.. О котором говорит президент!.. Гвардия инженеров!.. Алтари

и оборонные заводы!.. Я готовлю новый Большой проект, проект “Россия”!.. Я создаю образ русского будущего!.. Все устали от бессмыслицы, эгоизма!.. Я провозглашу новую философию государства!.. Философию русского будущего!.. Мессианский лидер грядет!.. Не я, конечно, не я!.. Президент Лабазов!.. Это его президентская партия!..

Дробинник спокойно слушал, как врач выслушивает пациента. Лемехов чувствовал, что не в силах убедить собеседника.

— Вы ездили по оборонным заводам, уговаривали директоров и инженеров войти в вашу партию. Говорили о своем будущем президентстве. Неуважительно отзывались о действующем президенте.

— Напротив, напротив!.. Когда спустили лодку, я говорил, что это личная победа президента Лабазова!.. Когда проводили пуск ракеты с подводного старта, я сказал на фуршете, что это салют в честь президента Лабазова!.. В честь нашего президента!.. Много злых языков, много скептиков, много недовольных!.. Они критикуют власть, критикуют президента, что, дескать, устал, даже болен!.. Не хочет больше руководить государством!.. Всё у него какие-то развлечения, прихоти!.. То журавли, то уссурийские тигры, то подводная амфора, то тайменя он поймал величиной с кита!.. И коррупция, и жену сослал в монастырь, и связи у него с певицами и балеринами!.. Я все пресекал, пресекал!.. Вырывал языки!.. Да не все, видно, вырвал!.. Один остался, который оклеветал меня в глазах президента!..

Дробинник смотрел на Лемехова, как следователь на арестанта, добиваясь признательных показаний. Слепящая лампа в лицо, бесстрастный голос перечисляет улики. И от этого ледяного голоса поднимался сжимающий сердце глубинный страх, притаившийся в памяти ужас, который достался ему от давней родни, прошедшей сквозь ночные допросы и железные язги дверей.

— Было странно наблюдать ваше зимнее плаванье по Москва-реке вдоль Кремля, когда на облаках, над Кремлёвским дворцом возник ваш портрет, как Нерукотворный Спас. Президент заметил, что подобный лик появлялся над Кремлём только в эпоху Сталина, и это был лик самого Сталина, неконованного монарха.

— Ну, это пустяки, просто шалость!.. Выдумка стилиста Самцова!.. Он искал новый образ, и с помощью лазеров, на облаках чертил его!.. Заоблачная фантазия художника Распевцева!..

— Я не могу устроить вам свидание с президентом, — сказал Дробинник. — Я не должен был вообще с вами встречаться. Но я испытываю к вам симпатию и не хочу, чтобы вы напрасно обивали пороги инстанций. На этом направлении ваша карьера завершилось. Попробуйте начать всё с начала, но от другой отправной черты. Может быть, вам следует уехать из Москвы? — он подозвал официанта и рассчитался. Поднялся и, не подавая руки Лемехову, с лёгким поклоном удалился. А тот остался сидеть, бормоча:

— Я привёз послание от Башара Асада!.. Не письменное, а на словах, из уст в уста!.. Я выдержал испытание водой у фонтана любви!.. И огнем — на сирийской войне!.. Скрежет пуль по броне! Господи, что же мне делать?..

Он поднялся и пошёл среди античных колонн туда, где тихо журчал фонтан. Ему навстречу брызнула музыка, засверкали цветные лучи. Вода в фонтане вспыхнула небесной лазурью. Божественная в своей красоте, обнажённая, прикрывая грудь и живот золотом пышных волос, на перламутровой раковине появилась Венера.

## Глава двадцать пятая

Он был отвергнут Лабазовым, а Лабазов будет свергнут им. Будет им свергнут и выброшен из Кремля. Для этого существует партия, имя которой “Победа”. С помощью партии он одержит победу. В партии лучшие люди страны — оружейники, технократы, военные. Патриотичные художники и писатели. Самые виртуозные журналисты, такие как Артур Лемнон. И, конечно, священники, и сам Патриарх. И мудлы, и даже раввины. Синеглазый маг и волшебник Верхоустин. Ясновидец и конспиролог Черкизов. А также



тайный орден “Жёлудь” с огромными деньгами и связями, перед которыми бессильны все президентские ищейки, все его “прослушки” и “наружки”, вся его хитроумная, прогнившая власть.

“Хотите вторую Болотную? Вы её непременно получите! Получите вторую Болотную!.. Хотите коалицию всех антикремлёвских партий? Вы получите коалицию! Да, коалиция!.. Да, коалиция!..”

Лемехов продолжал ненавидеть, но теперь его ненависть превратилась в отточенное острие. Этим остриём, направленным в сердце Лабазова, была партия “Победа”.

Он стал набирать номер Верхоустина, а затем Черкизова. Оба телефона отзывались длинными гудками, но знакомых голосов он так и не услышал. Раздражённый, он сетовал на обоих: в трудную минуту они оказались недоступны.

Он помчался на Олимпийский проспект, в штаб-квартиру партии.

Овальная громада Олимпийского стадиона. Множество стеклянных дверей и витрин. Самодельный паровоз, “чучело паровоза”, зачем-то поставленное на пандусе. Лемехов взбежал по лестнице. Торопился к дверям, на которых висела табличка с наименованием партии, и краснел геральдический щит. Но двери штаб-квартиры оказались распахнуты, таблички не было, на полу валялся красный осколок щита с золотой буквой “П”. Рабочие выносили из апартаментов последнюю мебель. Администратор покрикивал на них:

— Легче, легче, ребята!

— Что случилось? — Лемехов пытался им помешать. — Почему вы выносите мебель? Это партийный офис!

— Ничего не знаю, — ответил администратор. — Арендаторы съехали. Освобождаем площадь для других арендаторов.

Поражённый Лемехов вновь стал набирать номера Верхоустина и Черкизова. Но теперь вместо длинных гудков жестяной женский голос сообщал: “Данный телефонный номер снят с обслуживания”.

Он стоял ошеломлённый, боясь сделать шаг. Мир, в котором он жил, ещё недавно столь прочный и зримый, теперь превращался в пустоту. Всё, к чему он приближался, на глазах разрушалось, оседало пылью. Если он коснётся стены, она оседет тихим прахом. Если шагнёт на лестницу, ступени провалятся, и нога уйдёт в пустоту. Это было похоже на бред. Реальность, которую он создавал столь упорно и яростно, — стальные машины, людские радения, могучие свершения — всё было мнимым. Великолепные машины, дерзкие замыслы, незыблемые дружбы — всё осыпалось лёгкой бесцветной пылью, едва он хотел коснуться их рукой или мыслью.

Он смотрел на рабочих, протаскивающих через дверь рабочий стол, за которым обычно восседал Черкизов. Под ногами рабочих он увидел газету. Растрёпанная, истоптанная подошвами, она была раскрыта на странице, где он увидел свою фотографию, большую, почти во всю полосу. Фотограф вырвал мгновение, когда выступавший с трибуны Лемехов раскинул руки, растопырил пальцы, раздул щеки, воздел брови и стал похож на нелепую птицу, которая собирается взлететь. Над фотографией красовалась надпись: “Павлин”, — далее следовал текст статьи.

Лемехов подобрал газету и стал читать. Статья была написана известным либеральным журналистом Артуром Лемноном, тем самым, что был приглашён на учредительный съезд партии.

Лемнон писал:

“В нашем политическом птичнике обитают пернатые, которые с определённого момента начинают вдруг раздуваться. Живёт себе никому не заметная птичка, клюёт свои зёрнышки, и то ли не то зерно склевала, то ли не на ту ветку села, как вдруг начинает раздуваться. Вырастает зоб, который яростно квохчет. Вырастает клюв, которым можно убить. Раскрывается хвост такой красоты, “что не можно глаз отвесть”. Был так себе, Воробей Воробейч, а стал Павлин Павлинич. К числу таких распушивших хвост павлинов относится Евгений Константинович Лемехов, вице-премьер, курирующий оборонную промышленность. Человек он вполне заурядный, под стать обыкновенным российским чиновникам. Но вдруг он стал раздуваться, слов-

но ему в одно место вставили насос. Он возомнил себя будущим президентом России и созвал свой партийный съезд. Партия его зовётся “Победой”, видимо, в расчёте на победу в президентской гонке. Патриарх приезжает на съезд и произносит речь, будто это Успенский собор, и он на помозанника Лемехова возлагает шапку Мономаха. Участвуют в съезде создатели танков, подводных лодок и атомных бомб, а также казаки, приходские батюшки и офицеры спецслужб.

Что нас ждёт, если Президентом станет господин Лемехов? Смесь военщины и поповщины. Танки вместо масла, казацьки нагайки вместо художественных выставок, Закон Божий в школах и дикторы телевидения в офицерских мундирах на северокорейский манер.

Каковы же человеческие качества претендента на кремлёвский кабинет господина Лемехова? Он набожен, ходит в храм и молится перед иконой Божьей Матери “Державная”, но при этом заточил жену в психиатрическую больницу и развлекается с актрисами, музыкантками и балеринами. Он уверяет нас, что из России скоро прозвучит новое “слово жизни”, а сам на охоте недавно убил медведицу и двоих её медвежат. Кстати, ружье, из которого была убита медведица, подарил Лемехову крупный западный предприниматель, поставляющий станки для российских оборонных заводов. А постоянная патриотическая проповедь господина Лемехова находится в странной связи с дорогим особняком в Ницце, куда время от времени наезжает его патриотический собственник.

Весьма сомнительны достижения господина Лемехова в создании новых видов вооружения. По оценке экспертов, танки, самолёты и подводные лодки, о которых Лемехов рапортует народу, являются безнадежно устаревшими и не способны составить конкуренцию американским аналогам. Не дай Бог, случится вооружённый конфликт, и мы узнаем об эффективности менаджера Лемехова по числу погибших лётчиков, танкистов, подводников.

Таким образом, скромный воробей, клюющий зёрнышки со стола президента Лабазова, превратился в раздутого павлина с радужным хвостом. Но он, видимо, забыл, что жареные павлины — любимое царское блюдо. И стол, с которого склёвывал зёрнышки господин Лемехов, может быть украшен искусно зажаренной радужной птицей”.

Лемехов выронил газету. То место, куда она упала, превратилось в чёрный провал. Он летел за газетой в пропасть, и ему вслед раздавался хохот Лемнона.

## Глава двадцать шестая

- Это ты? — услышал он её голос, — Вернулся?
- Любимая, мне нужно тебя увидеть.
- Я сейчас не могу. У меня репетиция.
- Мне очень нужно! Где репетиция?
- В джаз-клубе “Коломбо”. На Фрунзенской набережной.
- Я к тебе еду.
- Ты сорвёшь репетицию.
- У меня срывается жизнь! Буду ждать тебя у клуба на набережной!

Москва была, как смутный, спелый плод, переполненный терпким соком. Воздух был сладкий и приторный. Казалось, разрезали дыню, и она лежит, истекая медовой влагой. Лемехов стоял у гранитного парапета, чувствуя, как остывает дневной зной. Москва-река, тёмная, маслянистая, крутила золотые веретена огней, покачивала плавучие рестораны, стаи уток, проплывавшие мимо речные трамвайчики. Хрустальный мост, перекинутый к Нескучному саду, казался бокалом, в котором кипело шампанское. Крымский мост был похож на крылатую железную птицу, отливавшую синевой. Синева начинала розоветь, становилась изумрудной, оранжевой. Птица была готова взлететь, сжимаемая в клюве блестящую реку. За рекой в Парке культуры и отдыха шумело гулянье, гремели аттракционы: крутились карусели, раскачивались ладьи качелей, звенели “американские горки”. Лемехов, окружённый огнями, запахом

женских духов и сладкого табака, с нетерпением ждал Ольгу. Он приготовил ей изумрудное кольцо, купленное на восточном рынке. Представлял, как наденет кольцо на её нежный палец. Драгоценный камень отразит хрустальный мост, проплывающий кораблик и уток, темнеющих в золотом отражении.

“Да, да, так и будет! Только она, только с ней! Мир оторнул меня, а я оторнул мир! Скроюсь в шатре её чудных волос, душистых и восхитительных! Только я и она! Уедем прочь из этого вероломного города, где свершился мой позор, моё унижение! Забыть, забыть! В какой-нибудь тихий город! В какой-нибудь маленький русский город! В Торжок, где старые особнячки, палисадники, старинная колокольня...”

Он достал кольцо и играл драгоценным камнем. Посылал фиолетовый луч в проплывавший кораблик, где его ловила танцующая на палубе свадьба. Посылал через реку к далёкой карусели, где луч скользил по лицам влюблённых. Посылал к тёмной воде, где утки кидались к лучу, принимая его за блестящую рыбку.

Он увидел, как она идёт, и всё в нем дрогнуло и счастливо запело. Её плавная поступь, грациозные движения плеч, стройность её ног, которые она ставила так, словно шла по подиуму. Перетянутое в талии платье, которого он прежде не видел, тёмное, с вырезом на груди. И лицо, любимое лицо, которое она опустила, зная, что он видит её, неотрывно лобуетя ею, жадным взглядом торопит её приближение.

— Какое счастье видеть тебя! А где твоя флейта? Я не мог тебя не увидеть! Утром с аэродрома — и такие события! Это ошибка, дурная ошибка! Или чья-нибудь злая воля! Ты не верь! Забудем об этом! Уедем и будем только вдвоём! Ты и я! Ты и я!

— Что случилось? — она воздела золотистые брови, и её глаза показались ему того же цвета, что и кольцо, и он радовался тому, что драгоценный камень имеет цвет её глаз.

— Ты была права, нам надо уехать! Тогда я не мог — честолюбие, мнимое дело! Теперь я свободен! Мы поженимся, муж и жена, только мы, только наша семья!

— Я сама собиралась тебе звонить. Хотела с тобой объясниться, — её золотистые брови сдвинулись, потемнели, и между ними легла морщинка то ли гнева, то ли страдания. — Я ждала твоего возвращения, чтобы объясниться. Мы с тобой расстаёмся. Я выхожу замуж. За Вениамина Гольдберга. Мы завтра уезжаем в Европу. Ты мучил меня целый год, забавлялся мной. Я была для тебя игрушкой. Ты женат на другой, а я для тебя утеха. Вениамин сделал мне предложение, и я покидаю тебя. Не удерживай, не трать понапрасну слов. Между нами всё кончено!

— Эта смоляная борода и блестящие мокрые зубы! “И темнела за пригорком смоляная борода”! Эти выпуклые глаза, что смотрят на мир, как на еду, которую можно есть, будь то заводы, красивые женщины или креветки!

— Оставь меня! Не смей ко мне прикасаться! — и она побежала вдоль набережной туда, откуда явилась. Он слышал стук её каблуков. Навстречу ей выехала машина, огромная, мощная, брызгая хрустальными фарами. Остановилась. Дверь приоткрылась, и чья-то тучная рука помогла ей скрыться в салоне. Джим с мягким шелестом прошёл мимо, и за тёмными стёклами была она, её флейта и смоляная борода с блеском белых зубов.

Содрогался своим железом Крымский мост, хрустальный мост осыпался осколками. Казалось, вместе с ним погибает и плавится мир, растворяясь в раскалённой бесцветной боли.

Он раскрыл ладонь, и кольцо с изумрудом упало в реку. Мимо плыл речной трамвайчик, играла музыка, и люди на палубе махали Лемехову.

## Глава двадцать седьмая

Служебная машина, которая его обслуживала, была отозвана вместе с шофёром. Лемехов пересел на “вольво” — собственный автомобиль — и рано поутру отправился под Подольск, где в дубравах располагалась клиника.

Она напоминала небольшую, хорошо оснащённую крепость. Железный глухой забор с угловыми каменными башнями, стилизованными под башни средневекового замка. Стальные ворота с камерами наблюдения, с оконцем, в котором мутно белело лицо охранника. Готическая острроверхая кровля дома едва виднелась над кромкой забора. Сходство с тюрьмой больно ранило Лемехова, и он вдруг горько подумал, что в этой тюрьме томится Вера, и это он её туда заточил.

Охранник долго рассматривал паспорт Лемехова, куда-то звонил и, наконец, бесшумно растворилась стальная калитка. Лемехов проник за ограду. Зеленели газоны, возвышались дубы и липы. Светлели посыпанные песком дорожки. Двухэтажный дом напоминал красивый особняк с чистыми окнами, на которых почти не были заметны решетки.

Доктор был чем-то похож на Чехова — благородный, изысканный, вкрадчивый, с золотым кольцом на крупном чистом пальце. Такие доктора внимательны и чутки к пациентам, бережны, как садовники, которые поднимают с земли смятые дождём цветы. Но этот благообразный и доброжелательный доктор был для Лемехова горьким укором, поскольку был нанят за большие деньги, которыми Лемехов откупился от Веры. От её страданий, от её невыносимой муки. Отгородился от них железным забором, камерами наблюдения, этим благородным доктором, в котором сквозь мягкое благодушие просвечивала жёсткая властность.

— Мне кажется, вам не нужно идти в палату. Подождите супругу в нашей уютной гостиной.

Лемехов остался один в гостиной, среди тихого солнца и зелёных растений. На столе в хрустальной вазе стояли розовые пионы, несколько лепестков упало на стол. В изящной клетке чистил свои цветные пёрышки милый щегол. На стене висели масляные пейзажи лесных опушек, холмов с белыми колокольчиками. От каждого предмета веяло покоем, детскими безмятежными воспоминаниями.

Послышались шаги, и в гостиную вошла большая женщина с сильным свежим лицом, в белых брюках и белом халате, видимо, санитарка. Крахмальный халат вкусно шуршал, поднималась высокая грудь, на крупном лице улыбались сочные губы, синели чуть выпуклые глаза. И за ней покорно, понуро опустив голову, шла Вера, словно её привели на невидимом поводке. Лемехов беззвучно ахнул, потянулся к ней, исполненный жалости, нежности и вины.

— Ну, вот, — произнесла санитарка. — Здесь вам будет уютно. Если что понадобится, позвоните, — и она удалилась, оставив на столе серебристый колокольчик.

Вера села чуть поодаль от Лемехова, и он видел, как слабо под её тяжестью прогнулась кожа дивана.

— Здравствуй, — сказал он, боясь, что его сочный звучный голос спугнет её, и она встанет и уйдёт.

— Здравствуй, — ответила она, и голос у неё был бесцветный, угасший, прозвучал, как слабое эхо его голоса.

На ней был домашний розоватый халат, висевший на худых плечах, ноги в приспущенных тёплых носках, в матерчатых шлепанцах. Волосы, когда-то чёрные, со стеклянным блеском, с пленительными завитками у висков, теперь были пепельно-серыми, коротко, по-большинному подстриженными. Виски провалились, и в них синими струйками обозначились вены. Её лицо, когда-то яркое и прекрасное, излучавшее счастье, с ликующим блеском глаз, — её лицо стало серым, безжизненным, с пепельным налётом усталости. Лемехов с болью смотрел на её приспущенные носки и матерчатые шлепанцы, вспоминая, как восхитительно она шла на высоких каблуках, и её стройные ноги, обтянутые шёлком бёдра, приоткрытая, с незагорелой ложбинкой грудь страстно трепетали, и она, зная свою неотразимость, позволяла Лемехову собой любоваться.

— Ну, как ты? — спросил он, стесняясь своей плотской силы и крепости. — Чувствуешь себя хорошо?

— Хорошо, — отозвалась она, как эхо.

— Погода такая чудесная!

— Чудесная.

Она была пустая. Звук его голоса залетал в неё и возвращался обратно, ослабленный и печальный. У неё вынули душу, вынули сердце. Пустота, которая в ней образовалась, ненадолго наполнялась звуком его слов. Вера отдавала их обратно, оставаясь безучастной.

— Доктор сказал, что тебе лучше. Мы скоро поедem домой.

— Домой, — тихо повторила она.

Перед ним сидела женщина, которую он когда-то обожал, которая дарила ему дивное счастье, чудные наслаждения, чей голос звучал для него пленительной сладостью, чьи волосы благоухали у него на губах, чьё жемчужное тело он целовал, глядя, как её плечо сверкает в свете луны. Теперь же она была словно околдована, находилась в болезненном полусне. Будто кто-то неведомый навёл на неё порчу, наслал злые чары, отделил её душу от солнечного света, от блеска вод, от стихов, которые она учила каждый раз перед пушкинским днём рождения и шла к памятнику великому поэту. Наивно и истово, как восторженная школьница, читала она “Клеветникам России” и “Цветок засохший, безуханный...” Теперь же она была погружена в мучительную дремоту, в мутные сновидения, среди которых не узнавала его, лишь возвращая обратно обращённые к ней слова.

Ему захотелось обнять её, поцеловать запавшие виски, коснуться губами мучительной морщинки на лбу, вдохнуть в неё силу и свежесть, разбудить, отвести злые чары, чтобы она поднялась с дивана на стройных ногах, в прежней ликующей красоте, и они вместе, взявшись за руки, пошли вдоль берега недвижимого озера с малиновой негасимой зарёй.

— Ты помнишь, как в Карелии по утрам мы выходили к озеру, и оно было ослепительное, расплавленное, и в лодке у мостков блестела рыба чешуя, а над крышей избы пролетала гагара?

Он увлекал её в их чудесное прошлое, когда, едва поженившись, они уехали в Карелию, и там, среди красных сосняков, фиолетовых туманов, серебряных разливов восхищенно и неумоимо узнавали друг друга. Открывали один в другом восхитительные тайны, в каждом мгновении, в каждом плеске весла, в каждом произнесённом слове находили сходство друг с другом. Праздновали свою чудесную встречу, чтобы больше никогда не расставаться.

— Ты помнишь, как летела гагара?

Вера молчала, её голова вяло клонилась, а глаза тускло смотрели мимо Лемехова.

— А помнишь, как приходили на берег кони, красный и золотой, заходили в озеро и пили? Вода была густой и синей, они пили эту синеву, и ты сказала, что запомнишь этих коней на всю жизнь.

Она молчала, и глаза её не помнили этой синевы, расходящихся по озеру кругов, серебряного пузыря у конской ноздри.

— А помнишь, как нам сделали баню, и ты ужасалась этого шипящего пара, медного ковша, тусклой керосиновой лампы? Ты вытянулась на лавке, длинная, белая, а я прикладывал к твоей спине шелестящий веник. От него оставалось розовое пятно, и прилипало несколько березовых листиков. Мы выскочили из бани и с мостков кинулись в ночное озеро. Плавали среди брызг, стенаний и хохота.

Он вдыхал в неё дух распаренных берёзовых веток, будил её шумным плеском воды, когда ловил под водой её плечи, целовал её грудь. Но она не просыпалась, оставалась среди тусклых сновидений, и её глаза отрешенно и слепо не откликались на эти виденья.

— А помнишь, как мы лежали в нашей светёлке, и оконце было полно белесого света, и в оконце танцевали и прыгали крохотные паучки, развешивали свои паутинки? Ты сказала, что это маленькие канатоходцы показывают нам своё мастерство.

Он не оставлял своих усилий. Вдыхал в неё драгоценные воспоминания, подносил к её глазам чудесные картины, на которых краснели на закатах сосняки, горсти были полны лиловой черники, перебегала тропку

пугливая, с перламутровой грудью тетёрка. Старик и старуха, блаженные, как дети, синеглазые, выйдя из бани, сидели на лавке, не стесняясь своей наготы.

Её глаза вдруг дрогнули. Она повела ими и остановила свой взгляд на Лемехове. Среди тусклого тумана задрожала блестящая каряя искра.

— Помню тетёрку.

— А помнишь, как на маленьком озере я оставил тебя одну, а сам крадся за утками? Ты стала меня звать, и утки все улетели, — он старался поймать мелькнувшую в её глазах карюю искру и не дать ей исчезнуть.

— Я сидела тогда у воды и смотрела, как бегают по ней водомерки. Тебя нет и нет, и я закричала. А ты рассердился, что я уток спугнула.

— А помнишь, как мы ночью читали стихи Пушкина: “Встаёт луна, царица ночи...” — и взошла луна, и мне захотелось уплыть на лодке в это ночное лунное озеро?

— Помню. Я смотрела на лунную дорожку, сверкающую, в таинственных вспышках, и ждала, когда твоя лодка появится на этом серебре. Загадала, что если появится, то мы проживём вместе счастливую жизнь, и у нас с тобой будут дети.

Её голос слабо дрогнул, и он испугался этого перебоя. На её горле вдруг задрожала голубая вена. Он почувствовал, как в ней поднимается волна тревоги и паники. Хотел отвлечь, выхватить её душу из тёмной воронки, куда её вновь засасывало.

— Доктор сказал, что тебе намного лучше. Скоро я заберу тебя отсюда, и мы поедem в Карелию, в наши святые места. Поселимся в том же доме, в той же светёлке. И всё то же совиное перо на стене, всё тот же томик Пушкина на столике, и в сенях стоит бочка с мочёной брусничкой, а на заборе висит ожерелье из сушёных щучьих голов. Мы будем идти по дороге, которая вся пропахла рыбой, потому что по ней рыбаки возят телеги с уловом. И губы твои будут тёмными от черники. И подол твоего разноцветного платья потемнеет от воды, когда ты присядешь и станешь пить из лесного ручья, а я буду смотреть, как вода подхватила твой разноцветный подол.

Он заговаривал её, отвлекал, уносил в чудесное прошлое, где было обожание, бережение друг друга. Но она не давалась, в ней начиналось кружение тёмных сил, открывался мутный водоворот, утягивал в свою глубину.

— Мы сидели на кровати, на пёстром лоскутном одеяле, — Вера заговорила торопливо, страстно, словно боялась лишиться дара речи. — Ты посмотрел на меня. Твой взгляд вдруг стал золотым, из твоих глаз брызнули на меня золотые лучи. И я почувствовала, что люблю тебя бесконечно, что ты мой суженый, ненаглядный, послан мне свыше, и нас не разлучат болезни, напасти, сама смерть. Я носила в себе плод — твой образ, твои золотые лучи. Но ты заставил меня убить его. Он теперь приходит ко мне. Его безрукое тельце, его изрезанное лицо. Я слышу его голос: “Мама, мама!” Я кидаюсь к нему, а вместо него открывается чёрная дыра, и из этой дыры дико смотрит твоё лицо!

— Вера! Вера! — Лемехов старался обнять её. — Всё не так! Всё будет у нас хорошо!

— Оставь меня! Ненавижу!

Он пробовал целовать её руки:

— Прости меня!

— Уходи! Ты чёрт, чёрт!

Она кричала, визжала, била его по лицу. Её глаза безумно метались, на губах показалась пена. Птица в клетке истошно верещала и билась о железные прутья. Колокольчик со звоном упал на пол.

В комнату вошла санитарка, высокая, мощная. Схватила Веру подмышки, оторвала от пола и понесла. А та визжала, билась в её могучих объятьях.

Потрясённый Лемехов смотрел, как розовеет на полу её матерчатый тапок.

## Глава двадцать восьмая

Лемехов, обезумев, гнал по Москве, не замечая перекрёстков, не видя светофоров, порождая вокруг себя вихри визжащих машин. “Я — чёрт! Я — черт!” — повторял он безумно, и ему казалось, что тело его под рубашкой покрывается собачьей шерстью.

И вдруг подумал, что есть человек, способный вернуть его в потоки жизни, отпустить грехи, помолиться за него возвышенной, угодной Богу молитвой. Это Патриарх, которому он уже исповедовался, который благоволил ему, благословил на великие труды. Он встретится с Патриархом, падёт ему в ноги. Тот накроет его золотой епитрахилью, и этот чудесный покров заслонит его от жестокой тьмы.

Лемехов повернул машину и помчался в Переделкино, в резиденцию Патриарха.

Ворота в резиденцию были закрыты, и над ними, подобно райским цветам, возносились купола и шатры, голубые, алые, золотые, в лучистых звёздах, будто само небо осыпало ими чертог Патриарха.

Лемехов представился охраннику, указал на свою высокую должность, утаив правду о своем увольнении. Охранник просматривал списки, не находя в них Лемехова.

— Нету вас. Не значитесь.

— Да мне без ваших дурацких списков, по срочному делу!

— Не значитесь.

Лемехов звонил в протокольный отдел Патриархии, в канцелярию, в приёмную Патриарха. Но все телефоны молчали, словно номер Лемехова был внесен в чёрный перечень, и с ним не выходили на связь. Внезапно железная калитка отворилась, и к Лемехову вышел высокий суровый монах, с чёрной гривой, яростно торчащей бородой и огненными, гневными глазами. Лемехов узнал в нем отца Серафима, келейника Патриарха.

— Мне передали, что вы пришли. Что вам угодно?

— Какое счастье, что я вас вижу!

— Святейший вас не может принять. Вы нанесли тяжкий урон его репутации. Вы едва не поссорили его с президентом. Вы вкрались к нему в доверие, пригласили на свой крамольный съезд, где собрались заговорщики.

Монах повернулся и исчез за железной калиткой.

У церковной ограды сидели нищие, похожие на серые комочки тряпья, из которых выглядывали одинаковые, бурачного цвета лица; они разом потянули к Лемехову просящие руки.

Он вошёл в храм, в его смутный сумрак, где золотился иконостас и висели лампы. Старушка извлекала из подсвечника огарки и складывала в коробку. Кто-то недвижно застыл на коленях. И сразу же, от порога он увидел “Державную”. Как бриллиант, она брызнула на него разноцветными лучами — алая, золотая, лазурная, — раскрыла руки, словно выпускала из объятий младенца, и он парил в невесомости. Лемехов с обожанием устремился к иконе, осеняя себя крестным знаменем. Прикоснулся к иконе жаркими губами и горячим лбом.

Его поразил холод, исходящий от иконы. Не было таинственного благоухающего тепла и телесной нежности. Казалось, икона была плитой, прикрывавшей холодный погреб. Он молился, целовал икону, стремясь растопить холод, услышать ответный поцелуй.

Он отступил от иконы и встал на колени. Он рассказывал Богородице о своём нерождённом сыне, подносил к ней изрезанное окровавленное тельце. Рассказывал о медведе, который умирал от страшной боли, брызгая на траву кровью. Умолял простить его за жену, которая состарилась и поблекла в клинике, где ходит теперь в своих припущенных носках и уродливых тапочках. Каялся за старика Саватеева и за друга Двулистикова, которых унижал своим властным превосходством. Умолял простить за вероломство по отношению к благодетелю президенту Лабазову, у которого хотел отобрать власть. Стоя на коленях, он страстно просил Богородицу простить его, откликнуться на мольбу, отозваться на его поцелуй.

Поднялся, приблизился к иконе. Прильнул губами и тотчас отпрянул: губы обжёг ледяной холод. Икона покрылась инеем, сквозь который тускло просвечивал лик, словно она была заморожена в огромную глыбу льда, которая образовалась от его отвергнутых молитв.

Тоскуя, он выбежал из храма. Шёл через двор к машине. Мир отшатнулся от него, и между ним и миром зияла жуткая пустота, в которой не было воздуха, не было травы и деревьев, не было звёзд и света. Он был чёрной дырой, которую проткнула в Мироздании чья-то беспощадная воля. И эта отчужденность от мира порождала невыносимую боль. Он подчинялся жестокой воле, уходил от мира. Покидал его. Отступал туда, откуда был явлен в этот мир. Он стремился обратно к матери, в её лоно, где свернётся в крохотный клубочек, прижав к подбородку колени, окружённый её теплом, её сберегающей любовью.

Озарённый этой последней спасительной надеждой, он развернул машину и направился к Старо-Марковскому кладбищу, где находилась могила матери.

Кладбище было тихим, солнечным, с высокими елями, среди которых темнел мрамор, пестрели цветами могилы, редкие посетители ухаживали за цветами или сидели на лавочках за железными оградками, пребывая в благоговейной печали. Невидимые в высоких вершинах, пели две птицы, словно оповещали друг друга о появлении Лемехова. Он шёл по аккуратным дорожкам, среди знакомых памятников, ожидая, когда его слабо коснётся тепло. То, что исходило от матери, которая издали слышала приближение сына.

Он миновал памятник какому-то армянину, видимо, картёжному игроку, который был высечен в рост на мраморной плите, и у его ног рассыпалась колода карт. Прошёл мимо памятника какому-то ветерану в военноморской форме с наградными колодками. Ожидаемого тепла всё не было, и он удивлялся, почему мать не встречает его.

Увидел, наконец, знакомый крест и розовый камень с материнским именем. Над могилой пламенели оранжевые цветы распутившейся лилии. Папоротники, которые весной раскрывали свои косматые спирали, теперь превратились в зелёные пышные перья. Вся земля внутри оградки была в перистых листьях. Они слабо колыхались от ветра. Но не было тепла, не было слабого свечения в воздухе, которым мать встречала его, окружая своей нежностью и умилением.

Он вошел в оградку и сел на лавочку, стараясь не потревожить папоротники.

— Мама, это я, — тихо произнёс он, ожидая услышать отклик. Быть может, она, как это бывало с ней во время болезни, задремала и не услышала его появления. — Это я, мама.

Но отклика не было. Не было тепла. Прохладный воздух пах землёй, хвоей, в нём редко перекликались высокие птицы, но материнского тепла не было.

— Мам, я пришёл, — он старался разбудить её, напоминая о себе. Он напоминал ей, как в его детстве они вышли из вагона метро на станции “Площадь Революции”, и он с изумлением рассматривал бронзовые скульптуры матросов, солдат и рабочих, их револьверы, винтовки, и темная бронза в нескольких местах сияла от множества людских прикосновений.

Он звал её:

— Мама, мама!

Рыдал, и тяжёлый дождь бил его сквозь еловые ветки, а от могилы исходил ледяной холод.

## Глава двадцать девятая

— Президент абсолютно здоров. Разве что перенёс лёгкий грипп. Какой-нибудь олигарх или чиновник чихнул, и у президента случился лёгкий насморк.

Лемехов испытал миг безумия, как и тогда, когда заглянул в чёрное зеркало телескопа, и на дне этой вогнутой чаши дышала чёрная бездна, шеве-



лились бесконечные миры и галактики, и эта бездна влекла его, обрекала на сумасшествие.

— Почему вы устроили мне западню? Вам-то это зачем?

— Когда я сулил вам великое будущее, я не обманывал вас. Среди всех российских политиков, всех высокопоставленных чиновников, всех претендентов на кремлёвское кресло вы самый лучший. Вас действительно была готова выбрать мистическая птица русской истории, которая искала дерево, где могла бы свить гнездо. Вы были самым высоким, крепким, цветущим деревом, и выбор мистической птицы пал на вас. Я должен был спилить это дерево, пока к нему не подлетела птица. Она уже приближалась, уже сложила крылья, готова сесть, но я успел спилить дерево, и птица улетела. Пусть теперь ищет другое место для своего гнезда. Быть может, и не найдёт.

Помрачение Лемехова продолжалось. Это было похоже на то, как в юности он старался представить себе две параллельные линии, которые пересекаются в бесконечности. Из этой аксиомы проистекала пугающая геометрия мира, безумная математика жизни, где всё перевёртывалось, имело иные очертания, иные имена и формы, иные понятия и смыслы. Этот изуродованный потусторонний мир существовал рядом с привычным, был отделён от него двумя хрупкими параллельными линиями, которые сходились в точке его сумасшествия.

— Кто вы? Зачем вы спилили дерево?

— Не считайте меня агентом ЦРУ, Моссада, Ми-6, БНД. И к масонам я не имею никакого отношения. Я не из “Рэндкорпорейшн”, не из финансово-промышленных групп или транснациональных корпораций. Бильденбергский клуб или Трёхсторонняя комиссия — не моя стихия. Все эти соощества не для меня. Я — пушкинист, как вы однажды меня определили. Я специалист по глубинам русского сознания. Пушкин помогает мне проникнуть в эти глубины, а постижение этих глубин открывает мне путь в Царствие Небесное. Там я гуляю в райских садах вместе с русскими мучениками, героями и святыми. Я — специалист по русской святости.

Глаза Верхоустина смотрели ярко и лучезарно, словно их лазурь была добыта в райских странствиях.

— Кто вы? — беспомощно повторил Лемехов.

— Я специалист по России, той, которая именует себя Святой Русью и мнит себя правопреемницей Царствия Небесного.

— Вы враг России?

Лемехову казалось, что его разум рассечён и разбросан по разным углам Вселенной. Целостная картина мира разбилась, и это вызывало страдание. Он сиделся соединить свой рассечённый разум, чтобы вновь возникла целостная картина мира. Отсечённые части разума начинали слетаться в фокус, готовые сложиться в единое целое, но вновь разлетались, продлевая безумие.

— Вы враг России? — повторил чуть слышно Лемехов. — Почему?

— Видите ли, всё началось с молитвы, которую Иисус завещал нам и которую человечество повторяет вот уже две тысячи лет: “Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое и да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...” В этих молитвенных словах Иисус призывает людей строить Царствие Небесное у себя, на земле, и только русский народ, единственный из всех земных народов, воспринял этот завет Господа буквально. Он строит это царство в России. Святая Русь времён Сергия Радонежского — это прообраз Рая Небесного на русской земле. Учение старца Филофея о “Москве — Третьем Риме” — это теория о русском государстве, которое низводит небо на землю, созидая Земной Рай. Патриарх Никон построил под Москвой Новый Иерусалим, чтобы именно сюда снизошёл Христос и превратил Россию в Райское царство. Иосиф Сталин строил в России райское царство — огромный красный монастырь, населенный святым народом. Все эти стремления каждый раз разбивались о твердыню Запада, который не желал трактовать буквально молитву “Отче наш” и откладывал Царствие Небесное на потом. Он рассматривал Россию как великую укоризну, великое искушение, уводящее человечество в несбыточную утопию. И Запад во все века насылал на Россию нашествия, чтобы не слышать

этот укор, устранить искушение. Запад разрушил Святую Русь времён Рюриковичей, погрузив Россию в смуту. Запад разрушил православную империю Романовых, учинив Февральскую революцию. Запад уничтожил Советский Союз, приведя в Кремль своих ставленников. Но тайными силами Мироздания, божественной волей Того, Кто подарил людям молитву “Отче наш” и сделал русский народ народом-молитвенником, каждый раз Россия возрождалась из пепла и вновь приступала к построению Рая Земного. Вот почему я здесь, в России, и поэтому я спилил древо. Вам понятно, Евгений Константинович?

— Нет, — едва слышно ответил Лемехов.

Ему хотелось скрыться, исчезнуть, вернуться туда, где его не было, где он был каплей живой материи, безмянной молекулой, пучком световых лучей. Ему хотелось укрыться в той перламутровой пуговице, которую он так любил рассматривать в детстве, представляя, как сияет она на платье прабабушки, когда та садится в коляску, и мелькают мещанские домики, купеческие лабазы, палисадники с золотыми шарами. Хотелось слиться с переливами перламутра, спрятаться в раковине, которая лежала когда-то на дне чудесного моря, среди зеленеватых лучей. Но Верхоустин не отпускал его от себя, мучил жестокими фантазиями.

— Я поясню свою мысль, Евгений Константинович. Россия, пережив своё очередное крушение, вновь создается. Она прошла первичные формы своего становления, обрела материальную мощь, укрепилась морально и теперь готовится к взлёту. Этот взлёт обещает стать ослепительным. Россия вновь соберёт отторгнутые у неё территории, вновь соединит под своей дланью рассечённый русский народ. Она вновь совершит прорыв в науке и технике. Но, совершив всё это, она в который уж раз прочитает молитву “Отче наш” и снова начнёт создавать на земле Небесное Царство. Это царство всплывёт, как волшебный град Китеж из тёмных пучин, как русское чудо в сиянии золотых куполов. О нём запоют великие русские песнопевцы, заиграют на струнных и духовых инструментах русские музыканты. О нём возвестят в стихах русские поэты, его изобразят на полотнах русские живописцы. И его в своих деяниях станет воплощать великий русский правитель, народный вождь, непревзойдённый лидер. Такой лидер предсказан. Его вычисляли политологи и знатоки русской жизни. Искали разведчики и конспирологи. О нём гадали звездочёты и колдуны. Но его обнаружил я. И этим будущим непревзойдённым правителем оказались вы. Вы — тот будущий лидер, который начнёт создавать в России Царство Божие. И это страшнее для Запада, чем все ваши самолёты и подводные лодки, лазеры и космические группировки. Я сделал всё, чтобы вы не стали этим лидером. Я срубил дерево, на которое готова была сесть вещая птица русской истории. И теперь птица покружит над ним и улетит обратно. И построение Царства Небесного будет отложено.

— Вы кто? — Лемехову казалось, что он теряет сознание. Его лоб буравило тонкое стальное сверло, погружалось в костную ткань, в студенистую мякоть, добираясь до потаённого центра, в котором мир выворачивался наизнанку, и открывалась обратная сторона Мироздания. Тончайший бур приближался к точке, из которой готово было хлынуть безумие, бесформенное и бесцветное, превращая всё сущее в неразличимый туманный хаос.

— Вы спрашиваете, кто я? — тихо засмеялся Верхоустин, и его глаза затрепетали лазурью, на которую пал ветер. — Я оборотень.

Он повернулся, сошёл с дороги, перескочил обочину, прошуршал по белым цветам и скрылся. И некоторое время было слышно, как хрустит под его ногами валежник. И оттуда, куда он удалился, вылетела сойка, с трескучим криком перелетела дорогу, и на солнце сверкнула её лазурь.

## Глава тридцатая

Он в изнеможении вёл машину, боясь потерять управление, столкнуться со встречным потоком, исчезнуть в слепом ударе. Рублёвское шоссе, переполненное машинами, липко тянулось среди вечерних сосен, нарядных

бигбордов, фешенебельных магазинов. Лемехов стремился поскорее добраться до дома, повалиться в постель и забыться. Заслониться от кошмара каким-нибудь воспоминанием о лесной опушке, тёплой сухой траве, в которой немолчно верещит невидимый осенний кузнечик.

Он въехал в Барвиху, миновал роскошные особняки, напоминавшие средневековые замки, барочные дворцы и мавританские крепости. Ждал, когда появится его ампирная усадьба, любимая ротонда, белоснежные колонны, медовый фасад. И был остановлен скоплением автомобилей, мятущимися людьми, красными пожарными машинами. Они дико выли, пробираясь по тесной улице, разбрасывали по сторонам панические лиловые вспышки.

Его дом горел, жарко, страшно, охваченный рыжим пламенем, которое шумно летело ввысь, увлекаемое могучей тягой. Пожарные машины окружили дом красными коробами. Пожарные в робах и сияющих касках тянули шланги, били в огонь розовыми струями. Газоны вокруг дома казались красными, задымленное небо было красным, и ровно ревелось рыжее пламя, устремляясь к облакам.

— Куда! Куда! — рявкнул на Лемехова пожарник с рацией, заслоняя путь, пропуская мимо двух пожарных, разматывающих бобину с асбестовым шлангом.

— Мой дом горит! — он отшвырнул пожарного и ринулся к дому. Жар остановил его, не пускал подойти ближе. Он заслонялся рукой, смотрел, как мимо, волоча шланг, косолапят двое пожарных в шлемах. Шланг был порван, и из него била водяная дуга.

Лемехов, остановленный стеклянной стеной жара, смотрел, как горит его дом. Горит кабинет с любимыми фетишами, охранявшими его домашний покой. Горит библиотека отца и тетради его стихов, иные из которых он так и не успел прочитать. Горит комната мамы с иконами и лампадами, и тем камушком, который она привезла со Святой Земли, и той сухой розой, которую она укрепила у своего изголовья. Горит зимний сад с бассейном, в котором вскипает вода и гибнут рыбы и божественный цветок виктории регии. Горит араукария с пушистой кроной, в которой притаилась тень матери; олеандр с глянцевитыми листьями, в которых, прилетев с берегов Лимпопо, поселилась душа отца; горит молодая пернатая пальма, в которую воплотился его нерождённый сын. Всё это сгорало на его глазах, и он остолбенел, словно приговорённый к чудовищной казни, которую вершила над ним судьба. Без воли, без молитвы, без слёзного вопля он принимал эту казнь.

Он вдруг увидел, как из пламени, из-за охваченных огнём колонн выбежали мать и отец. Отец прижимал к груди младенца, а мать, воздев руки, тянула их к Лемехову. Одежда на них горела. Они были, как факелы. Лемехов пытался крикнуть, пытался позвать: “Мама! Папа!” — но во рту его чавкал ком слюны и слёз, и раздавалось лишь мычание. С этим мычанием и хрипом он ринулся им навстречу.

— Куда! Сгорись! — пожарный пробовал его удержать, но Лемехов вырвался, побежал навстречу любимым, издавая бессловесное мычание. В спину ему ударила мощная струя из брандспойта, толкнула вперёд, опрокинула. Вокруг шипела, редела вода, и он, теряя сознание, видя у глаз красные пузыри воды, мычал и стонал, забыв все слова.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Глава тридцать первая

Вдруг он вспомнил солнечную комнату на даче, лёгкую занавеску, за которой цвёл жасмин, и шмеля, который, залетев в окно, гудел, стараясь найти выход в сад. Жена протянула молодую смуглую руку, откинула занавеску, и шмель с благодарным гулом улетел на свободу.

Это воспоминание было острым, залетело в его жизнь из бесконечно далёкого прошлого. И кануло, оставив по себе болезненное недоумение. По-прежнему мир вокруг был полон ровного слепящего света с неразличимыми очертаниями предметов, событий и чувств.

Он вновь шагал по дороге. Достиг леса и прошёл сквозь его прохладу и косое солнце, бьющее из еловых вершин. Потом снова шёл полями, не встречая селений, словно дорога вела из одной бесконечности в другую. Круглая тень под ногами вытянулась, ушла далеко за обочину и следовала за ним, достигая холмов. Поля вокруг покраснели, заря медленно угасала, превращаясь в расплавленную струйку, которая стекала за горизонт и меркла. И вновь на этой меркнувшей дороге он очнулся от острого знания. Эта неведомая дорога с сорным бурьяном на обочине, в комьях запёкшейся грязи была продолжением множества других дорог, по которым он проходил. Той розовой тропки среди росистой травы, по которой в детстве бежал он вместе с отцом, и босые ноги чувствовали прохладную землю, и подсолнухи, мимо которых пробегал, дохнули мёдом. И той железной палубы крейсера, по которой ступал мимо глубинных бомбомётов, артиллерийских установок, контейнеров с крылатыми ракетами, и море кидало ему в глаза жёсткие стальные вспышки. И той лесной подмосковной дороге, где в изумрудной воде скользили бирюзовые лягушки, и человек с васильковыми глазами произносил колдовские слова. Все эти тропинки, автострады, железные дороги и самолётные трассы сливались в один непрерывный путь, которым он следует от рожденья до смерти. И он сам, совместивший в себе столько дорог, он сам и есть путь, которым движется в мире безымянная и творящая Воля.

Это переживание зажглось и погасло вместе с фиолетовой струйкой зари.

Он шёл во тьме, видя над собой большие яркие звёзды. Нежданно во мраке он достиг села, которое темнело кровлями среди блестящих созвездий.

Не было ни огня. Не лаяли собаки. Он чувствовал страшную усталость, но не находил места, где можно было прилечь. Среди чёрных изб он вдруг заметил светящееся оконце и устремился на его жёлтый стеариновый свет.

Избу огораживал забор. Калитка была заперта. Он увидел скамейку у ворот и опустился на неё, глядя, как свет из окна освещает мелкую траву, рытвины, какую-то мусорную грудку. Он прижался затылком к забору, готовый уснуть.

Хлопнула дверь в избе. Скрипнула калитка. Фонарь осветил землю, свет полетел вдоль улицы, скользнул по соседним заборам, погас. Человек, погасивший фонарь, попал в ответ окна, и Лемехов увидел маленькую полную женщину в чёрном, до земли, платье, с круглым пухлым лицом, по которому скользнул свет окна.

— Кто тут? — ахнула женщина, увидев на лавке Лемехова. Фонарь брызнул ему в лицо. — Чего надо?

Лемехов что-то хотел ответить, но язык устало дрогнул, и он лишь слабо и невнятно промычал.

— Господи! — женщина исчезла в калитке. Звякнула дверь избы, и стало тихо. Но опять стукнула щеколда, отворилась калитка, и два фонаря ослепили Лемехова. Теперь рядом с женщиной оказался высокий бородатый мужчина. Он шарил фонарём по лицу, по ногам Лемехова, светил вокруг, словно искал кого-то, кто мог притаиться рядом.

— Ты кто таков? — Лемехов заметил в кулаке мужчины топор и опять промычал, желая сказать, что ужасно устал и хотел бы прилечь и уснуть. Но вместо слов из него истёк только жалобный стон.

— Ты что, немой? — спросил мужчина, вновь слепя фонарём. — Откуда ты свалился? Шёл бы себе мимо.

Лемехов испугался, что его прогонят, и ему придётся вновь влачиться в ночи, без ночлега и приюта. Он беспомощно замычал.

— Пошли, у батюшки спросим, куда его, — в руке у мужчины, попав в свет фонаря, блеснул топор. Фонари погасли, и Лемехов снова остался один.

Он начал засыпать, и ему казалось, что он поднимается на мерно рокочущем лифте в их прежнем доме на Тверской. И там, куда движется лифт,

знакомые комнаты с большими светлыми окнами, из которых виден весенний бульвар, сверкающий фонтан, памятник Пушкину. У его подножия, словно рубиновые капли, — цветы. Лифт остановился, и голос из полыхнувшего фонаря произнёс:

— Вставай. Батюшка велел тебя привести.

В сенях горела тусклая лампочка, освещающая бревенчатые стены и две двери — высокую и низкую, одну напротив другой. Мужчина толкнул низкую, пропуская Лемехова со словами:

— Пригнись, лоб расшибёшь.

Лемехов очутился в светёлке с нависшим потолком и лавками вдоль стен. Повсюду висели иконы, бумажные, в окладах из фольги. Горело несколько лампад, пахло церковным елеем и квашеной капустой. Здесь был и тот, кого Лемехов в темноте принял за женщину, на свету же это оказался маленький толстый мужчина в чёрном подряснике, с безбровым и безбородым лицом и длинными волосами.

— Сиди тут, — он указал Лемехову на лавку, — покуда батюшка не кликнет, — и оба, бородач и безбровый, ушли, оставив Лемехова одного.

Тот сидел на лавке, почти спал, видя, как двоится, туманится зеленоватая лампада, отражаясь в тиснёной фольге оклада. Горенка напоминала келью и, обилием икон, мамину спальню, и от этого Лемехову стало тепло и грустно. Он таял и улетал в сладком сновидении.

Но сон его был прерван. В светёлке появился бородач с жилистой шеей и крепкими пятернями, почерневшими от огня и железа.

— Идём, немой. Батюшка велел тебя звать.

Прошли через сени и оказались в избе. Потолок был высок. Пол сплошь застилала цветные половики. В двух подсвечниках жарко пылали свечи. Сияли образа. Посреди избы стоял крупный плечистый священник в рясе и золотой епитрахили. Чёрные волосы были стянуты на затылке в тугую косу. Лоб высок и бел, смоляные брови почти срослись у переносицы. В чёрной квадратной бороде снежно белел завиток. Глаза пронзительно сверкали, словно в них горели две чёрные звезды.

— Отец Матвей, вот раб Божий, которого мы с Семён Семёнычем подобрали... Немой, мычит, как телёнок.

— Ты кто таков? — спросил священник, сверкнув огненными глазами. Сон Лемехова улетучился, появилась робость и готовность подчиниться велеанию властного пастыря.

— Откуда? — повторил отец Матвей. Лемехов слабо промычал. — Из Ломакина, что ли? — Лемехов покачал головой и издал подобие стога. — Не местный? Может, тамбовский? — Лемехов покачал головой. — Хочешь сказать, из Москвы? — отец Матвей оглядел Лемехова с головы до ног: нечищеную сбитую обувь, грязный, пыльный, когда-то дорогой костюм, французскую сорочку, у которой ворот почернел от грязи. Весь его неряшливый, измученный облик, исхудалое, с провалившимся щеками лицо, на котором неопрятно топорщилась щетина.

— Стало быть, к нам из Москвы? Садись, раб Божий, — он указал Лемехову на лавку, и тот послушно сел, понуждаемый властным огненным взглядом.

Нелюбезный бородач покинул избу. Отец Матвей скрылся за перегородкой, и оттуда послышался его рокошующий, тихо поющий голос. Лемехов остался на лавке, озирая избу.

В углу на божнице стоял большой застеклённый образ Спасителя, горела лампада. На стенах висели иконы, бумажные, на дощечках, в дешёвых латунных окладах. Все они размещались вокруг больших, в деревянном футляре часов, на которых пульсировала секундная стрелка. Бумажные розы, белые и алые, окружали часы. Лемехов слышал едва различимое тиканье. В дальнем углу стояли надетые на древка латунный крест, гранёный стеклянный фонарь, лучистая звезда — всё, что выносят на крестный ход. Изба, в которой оказался Лемехов, была молельным домом или надомной церковью. У него родилось странное чувство, будто именно её искал он в путанице дорог, к ней неуклонно приближался, меняя поезда и попутные машины,

внезапно, без видимой причины покидая углый вагон, выходя на безымянных полустанках. И теперь он нашёл эту обетованную избу с венком из бу-мажных роз, среди которых трепетно бежала хрупкая стрелка.

Стукнуло снаружи. Растворилась дверь, колыхнув пламя свечей. Порог переступила немолодая грузная женщина. Торчали из-под платка седые прядки, у носа и рта темнели усталые морщинки, в руках был кулёк. Не выпуская его, она перекрестилась на образ, тяжело сгибаясь в поклоне. Появился бородач Фёдор. Указал на лавку:

— Садись, Ирина. А этого раба Божьего мы с Семён Семёнычем подобрали. Мычит, как бычок. Значит, немой. Батюшка его с нами оставил.

Женщина поклонилась Лемехову и села рядом, положив на колени кулёк. В избе появился Семён Семёныч — кругленький, как колобок, с бабыми белыми щеками. Он вёл за собой высокого сутулого парня. Его лицо было одутловато и серо, глаза из-под низкого лба смотрели подслеповато, в руках он держал пластиковый пакет, топтался у порога.

— Ступай, Виктор, не торчи, как бревно, — Семён Семёныч направил парня к лавке, и тот сел, опустив пакет у ног.

Лемехов не удивлялся появлению этих людей, не задавался вопросом, куда они все снарядились. Он был среди них, его привёл в этот дом невидимый поводырь, и всё, что ни случится, он примет со смиренной покорностью.

В избе появлялись всё новые посетители. Перенёс через порог костыль худощавый человек с нечёсаными волосами и синими блуждающими глазами. Глаза его взволнованно кого-то искали и, не находя, наполнялись слёзной печалью.

— Егорюшка, посиди, давай, а батюшка скоро выйдет. — Семён Семёныч направил калеку к лавке, и тот неловко сел, не зная, куда деть костыль.

Вошла чернявая, похожая на цыганку женщина. На увядшем смуглом лице оставались красивыми пунцовые губы и лучистые глаза, которые были обведены тёмными болезненными кругами, а щёки её уже начинала покрывать мелкая рябь морщин.

— На-ка ступ, Елена. Нет, под часы не садись, а туда, к окну, — командовал Семён Семёныч, между тем как бородастый Фёдор скрылся за перегородкой, откуда звучали два рокочущих голоса, его и отца Матвея.

Отворилась дверь, и вошла маленькая молодая женщина с матерчатой сумкой. Кофта её не сходила с животе, который круглился, натягивая платье. Её милое лицо сплошь покрывали рыжие веснушки, как это бывает у беременных. Серые глаза светились робкой надеждой, тихим умилением и виной за свой живот, плохо застёгнутую кофту, жёлтые, цыплячьего цвета носки и большие нечищенные туфли.

— Пришла, Анютка, а ведь батюшка брать тебя не велел, — сердито встретил её Семён Семёныч.

— Куда же я? — умоляюще сказала женщина, — Куда же я теперь?

— Думать надо было, когда нагуливала. Будет теперь ублюдок. С ним не спасёмся. — Семён Семёныч подставил ей табуретку, сердито отвернулся.

Сидели молча, с кульками и сумками. Лемехов не знал, в какую дорогу они все собрались. Чувствовал, что предстоящая дорога продолжит множество предшествующих дорог, сольётся с ними в один общий путь.

За перегородкой умолкли песнопения. На свет вышли отец Матвей и Фёдор, оба чернявые, бородастые, ещё неся в горле рокочущий звук.

— Братья и сестры! — Отец Матвей вскинул иссиня-чёрные брови. Его глаза восторженно сверкали, как два чёрных бриллианта. Белый завиток в бороде ослепительно сиял. — Вы собрались в этой скромной келье, которая стала для вас домом духовным, и готовы от её порога ступить на стезю последнего очищения и спасения. Многих мы звали с собой, но не многие откликнулись, ибо много званых, но мало избранных. Вы избранные дети Божии, но не вы избрали себе спасение — Господь сам выбрал вас, отсеяв от миллионов других, как зёрна отсеивают от плевел. Вы зёрна, из которых будет испечён хлеб новой жизни. Вы соль земли, которую Господь берёт себе, отделяя от мёртвого песка и глины. Вы малое стадо, которое собралось из миллионов заблудших овец, отданных в пищу волкам. Вы же, претерпев

многие испытания и муки, одержали победу. И теперь во славу Божию идёте на встречу с Отцом Небесным.

Лемехов чутко и сладко внимал. Его сердце было подобно птице, сидящей на ветке и готовой взлететь. Впервые за минувшие недели, когда мир вокруг сгорал и осыпался ему на голову холодной золой, и он покорно подставлял голову под эти тёмные пласты пепла, — впервые ему сверкнула лазурь. В надежде и страхе он слушал священника, зовущего в таинственный путь.

— Ты, Ирина, многострадальная дочь Божья, претерпела от клеветников, которые воспользовались твоей простотой, оговорили тебя, повесили на тебя растрату в магазине, и ты в тюрьме мучилась за чужие грехи, сносила терпеливо свою муку. О таких Христос сказал: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное”. Тебе, Иринушка, уготовано Царствие Небесное.

На тяжёлом унылом лице женщины дрогнули губы, она слабо всхлинула и замерла, оцепенела.

— Ты, Егорушка, — отец Матвей обратился к инвалиду, уложившему на пол свой костыль, — ты усердный в молитвах,носишь насмешки, побои, безропотно принимаешь свою судьбу и благодаришь Бога за всё, во всём видишь волю Божию. О таких Спаситель сказал: “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”. Ты, Егорушка, вкусишь райских хлебов.

Калека тихо ахнул, и на его изможденном лице счастливо засияли глаза.

— Ты, Виктор, был воином и солдатом, и в военном походе усмирал врага и нёс родной земле мир. Пострадал от взрыва, и теперь всё мучаешься, так что горлом кровь идёт. О таких, как ты, Отец наш Небесный сказал: “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими”. И теперь ты воин Христов и идешь в поход, чтобы обрести Царствие Небесное.

Парень, к которому были обращены слова священника, задышал глубоко, и на его сером одутловатом лице проступил слабый румянец.

— Ты, Елена, многое испытала, и немалую часть жизни провела в суете, артисткой, певицей, плясуньей и многим искушениям предавалась. Но Господь вразумил тебя тяжёлым недугом, и ты вняла его вразумлению и чистосердечно отстала от прежней жизни. И теперь ты в малом стаде, которое спасётся. О тебе Христос сказал: “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”.

Елена вспыхнула, и её усталое лицо на мгновение вдруг стало прекрасным, как будто солнце из-за тучи брызнуло светом, а потом померкло.

— Ты, Семён Семёныч, кроткий и безответный. Сердитого слова от тебя не услышишь. Всё “Бог простит” да “Бог простит”. О таких Спаситель сказал: “Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю”.

Семён Семёныч перекрестился.

— А ты, Фёдор, — отец Матвей повернулся к суровому бородачу, — ты долго искал свою правду. Был милиционером, налоговым инспектором, то есть мытарем, торговую лавку держал и нигде себя не нашёл. Нигде не сыскал истины, и только во Христе утешился. О подобных тебе Христос сказал: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное”.

Бородач засопел и потянул железный кулак к глазам, в которых блеснули слёзы.

— А ты, раб Божий, — обратился священник к Лемехову, — не знаю, как звать тебя, зато Господь знает. По виду, много тебе досталось в миру, много камней в тебя брошено, но камни эти тебя не убили, а пригнали к нам. И ты благослови эти камни. Вижу по твоим глазам, что нет в тебе зла, а одна боль. “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”. Потерпи, и боль твоя сменится несказанным блаженством.

Впервые за эти недели к Лемехову обратились со словами утешения и любви. Не гнали, не отвергали. Не спрашивали, кто он и откуда. Приняли в своё братство, и он испытал ко всем, кто его окружал, слёзную благодарность. Не понимая и не стараясь понять смысл этого ночного собрания, он обожал уже этого батюшку с белым завитком в бороде, который сиял, как серебряный месяц в ночи. Был готов следовать за ним, радостно повинуюсь его пастырской воле.

— А ты, Анота, зачем пришла?! — отец Матвей грозно уставился на маленькую женщину, натянувшую кофту на круглый живот. — Ты не угодна Господу. Ты блудница, и от тебя родится убудок. О подобных прибудных младенцах Иисус сказал, что лучше бы им не родиться, такие они примут муки. Ты, как паршивая овца, портишь всё наше стадо. Ступай вон!

— Батюшка, не гони! — зарыдала беременная. — Я у Господа вымолю спасение для сынишки.

— Возьмем её, отец Матвей, — сказал бородатый Фёдор. — Богу решать, как с ней быть.

— Из-за неё никто не спасётся, — сказал отец Матвей. — Да, видно, от неё не отцепиться.

В избе было душно. Пылали свечи. Качались по стенам и потолку тени. Сверкала золотая эпитрахиль. Сиял серебряный месяц в бороде священника.

Лемехов не понимал и не хотел понимать смутные намеки, ускользающие смыслы увещаний и назиданий отца Матвея. Он был благодарен этим людям, которые приняли его в свой круг, открыли ему дверь среди глухой ночи, пустили в тепло, в свет свечей, в сиянье лагунных окладов. Он чувствовал, что в его крошечном горе появилась таинственная воля, которая вела его по городам и селеньям, пересаживала из вагона в вагон и привела по ночной дороге в безвестное село. Усадила в избе на деревянную лавку.

На стене висели часы в старинном деревянном футляре, с римскими цифрами, с узорной часовой и минутной стрелкой, с трепетаньем секундной стрелки, которая скользила по кругу, издавая стрекозиный шелест. Казалось, что все висящие на стене иконы, все алые бумажные розы, все многоцветные лампы окружают эти часы, как главную святыню, и белая эмаль циферблата напоминала божественный лик.

— Хочу, дорогие братья и сестры, открыть вам тайну этих часов. Вы не раз приступали ко мне с просьбой поведать эту тайну. И ты, Фёдор, и ты, Семён Семёныч. Но я откладывал, ибо время не наступило. Ибо есть времена, а есть сроки. И теперь времена кончаются, и наступают сроки, — отец Матвей поклонился часам, как кланяются образу. И все, кто находился в избе, повторили его поклон. И Лемехов, будто его колыхнул неслышный ветер, поклонился часам. — Часы эти принадлежали тамбовскому батюшке, который ездил в Петербург, и эти часы ему преподнёс Иоанн Кронштадский. Сказал, даря: “Эти часы не я завёл, не я и остановлю. Ты стой на молитве и смотри на часы. Они русское время и русские сроки укажут. Первый раз остановятся гневом Господним, который по нашим грехам остановит русское время. Потом они снова пойдут, когда Господь смилостивился и вернёт России русское время. А потом совсем остановятся. Да так, что стрелки с часов опадут, и на них обозначится образ Божий”.

Лемехов глядел на часы, слушая их стрекозиный шелест. Ему казалось, что в деревянном футляре прячется тайный клубочек, заложенный в этот футляр от сотворения мира. Клубочек разматывается, выпуская наружу лёгкую паутинку. Стрелка в своём кружении сматывает время с клубка, и все, кто ни есть в избе, опутаны этой паутинкой. Существуют, пока она сматывается. Исчезнут, едва она оборвётся.

— Первый раз часы встали, когда убили государя Императора. Священник завернул часы в полотенце и спрятал на чердак. А к нему уже лომились враги рода человеческого. Страшно над ним измывались и умучили. Батюшка прославлен среди новомучеников. Часы достались племяннице его, которая держала их в доме в память о дядюшке. Часы бесшумно стояли многие годы. Вдруг ночью женщина проснулась от тиканья. Зажгла свет — часы идут. А наутро объявили, что случилась победа над немцами. Господь в знак Победы вернул России русское время. Эти часы перешли ко мне по родству. И теперь они укажут, когда кончится время, опадут стрелки, а вместе с ними опадут звёзды с неба, и настанет конец света. И мы, братья и сестры, кому Господь уготовил спасение, понесём эти часы в пещеру и по ним станем следить, когда наступит последний срок и кончится земное время и вся грешная земная жизнь, и настанет жизнь вечная, где времени вовсе нет.



Отец Матвей восторженно сверкал очами. Вся его паства заворуженно и молитвенно взирала на часы, сложено ждала, когда замрёт бегущая стрелка, и за окнами избы начнут полыхать огни и зарницы, знаменующие скончание времён.

— А успеем, отец Матвей, дойти до пещеры? — спросила Елена. На её увядшем пожелтевшем лице зардел румянец. — Как бы ни опоздать!

— Не опоздаем — ответил священник. — Мне Ангел во сне указал, когда выходить. Сейчас и пойдём.

— А нас в пещере огонь не достанет? Она-то не больно глубокая, — спросил калека Егорушка, робея и зябко двигая худыми плечами.

— У входа пещеры встанет Ангел Господний и заслонит от огня. Снаружи всё сгорит: леса, города, дороги, реки, само небо сгорит, — а нас Ангел Господний заслонит от огня. И мы, какие есть, во плоти предстанем пред Господом, и Он нас возьмёт в Своё царство.

— Больно страшно, отец Матвей, — глухо, с комом в горле, произнесла продавщица, бывшая узица Ирина. — Как наша деревня станет гореть — подумать страшно!

— Страшен Господь во гнев Своём, — отец Матвей воздел перст, и казалось, вокруг воздого пальца засверкал раскалённый воздух. — Долго терпел Господь, милостивый и любвеобильный. Но кончилось терпение Господа, и Он очистит мир от скверны метлой огненной, как хозяин очищает от мусора запущенный двор. Сперва упадёт звезда Кровень, и мир запылает красным огнём, в котором сгорят все люди. Потом упадёт Синь-звезда, и сгорят все звери и птицы, и скот, и рыбы в морях, и будет огонь синий. Потом упадёт звезда Медынь, и в её зелёном огне сгорят все камни, все горы, все океаны и реки, и сам воздух, и будет кругом пустота, и в этой пустоте уцелеет одна пещера, и мы, малое стадо, которое Господь возьмёт в свое царство.

— Спаси и сохрани, — всхлипнул Семён Семёныч, обморочно заваливаясь и держа за стену.

— И будет пустота длиться тысячу тысяч лет, но для нас, закрывших глаза от страха, она покажется мигом единым, потому что время исчезнет. А когда раскроем глаза, будет вокруг новая земля и новое небо. И дивные сады, и чудные леса, и несказанной красоты озера. И цветы, благоухающие мёдом. И птицы с золотыми перьями. И звери лесные с человеческими лицами. И камни на земле, как алманты, сапфиры и рубины, и каждый камень будет петь свою песню и славить Господа. И откроется дорога, как серебро. И по этой дороге выйдет государь Император с царицей, с царевнами и царевичем, окруженные сонмом святых, все в венках из белых роз. И возникнет среди полей золочёный трон, на который воссядет царь. И призовет нас к себе, и усадит на цветах вокруг трона. И начнётся новое царство.

Отец Матвей восхищённо сиял. Казалось, кто-то невидимый, залетев в ночную избу, подсказывал ему восхитительные видения, и он рисовал своей пастве божественные картины.

Лемехова не изумляла проповедь священника о конце света. Она не казалась ему фантастичной. Он уже пережил конец света, пережил пожар, спаливший его землю и небо — всё, что он любил и чем спасался. Три зловещих звезды упали на его жизнь и сожгли его ценности, и возникла пустота, в которой он, онемев и ослепнув, брёл наугад, поднимая башмаками тусклый пепел. Но вдруг на безвестной дороге у робкого родничка, у хрустального ключика он почувствовал, что в этой мёртвой пустоте есть для него живое прибежище. Есть безымянная воля, которая провела его сквозь огни и пожары и теперь сулит спасение. Он сидел среди незнакомых людей, которые исстрадались на этой грешной земле и ждали чуда. Уповали на вечное блаженство, которое сулил им пастырь с блистающими очами.

Лемехов хотел о чём-то спросить священника, в чём-то ему исповедоваться, о чём-то его умолять. Но звук отвердел во рту, как камень, и он издал лишь слабое мычанье.

— Пора, — сказал отец Матвей. — Выходим. Семён Семёныч, туши свечи. А лампы пускай горят. — Он перекрестился широкими взмахами и пошёл к двери.

## Глава тридцать вторая

Вышли из душной избы в прохладное мерцание ночи. Тут же на дворе отец Матвей построил своё малое стадо. Впереди поставил Семён Семёныча с горящим фонарём, в котором слабо желтела свеча. Следом встал борода-тый Фёдор, прижав к животу часы. За Фёдором место занял Лемехов, которому священник дал в руки крест, и Лемехов, сжимая тяжёлое древко, подумал, что священник угадал его горькую долю, вручив ему крест. За Лемеховым отставной солдат Виктор воздел латунную узорную звезду, которая за-качалась, задышала среди звёзд небесных. Калека Егорушка пристроился за спиной солдата. А три женщины, среди них и брюхатая Анюта, стали в хвост процессии.

— Господи, благослови! — певуче возгласил отец Матвей. — Идём на встречу с Тобой, званые Тобой, Господи, на пир Твой! — и пошёл вперед, открывая калитку, выводя процессию на деревенскую улицу.

Прошли деревню. Ни огня, ни звука, даже псы приумолкли, чуя приближение конца времён. Крыши, деревья чернели среди горящих звёзд. А когда вышли за околицу, на пустую, слабо белевшую дорогу, священник зашел:

— Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас...

И ему отозвались блеклые и нестройные голоса Ирины и Елены и роко-чущий бас Фёдора.

Лемехов нёс крест, и это несение креста было сладостным, вещим. В нём угадали измученную, изведённую душу, для которой жизнь была непосиль-ной ношей, и душа хотела покинуть эту постыльную жизнь. Но душе предло-жили спасение — несение крестной ноши. Предложили идти крестным пу-тём, как шли бесчётные люди до него. И эта причастность к бесчётным, измученным людям вдохновляла его.

Они шли в открытом поле, под просторным небом. От края до края пе-реливались разноцветные звёзды, вспыхивали небесные узоры, текли волшеб-ные туманности. Поющие голоса улетали к звёздам, и небо волновалось от этих умоляющих песнопений. Лемехов думал, что этой ночью, среди огром-ной спящей земли движется малая горстка людей, видная только Господу. И он среди этих русских скитальцев и странников поставлен для несения крест-ста. Этот крест общий для всех. И для тех, кто спит сейчас и не ведаёт об этой степной дороге, о промелькнувшей в небе падающей звезде, о горькой по-льни, которой коснулась нога, и польнь полыхнула обжигающим ароматом.

Фонарь, окружённый желтоватым сиянием, качался впереди. Ночные бабочки налетали на свет фонаря. Вспыхивали, как малые искры, их зелён-ные глаза, их прозрачные крылья. Лемехов думал, что бабочки летят вмес-те с ними спасаться, мечтают избежать палящего огня и перелететь в бла-гоухающий райский сад.

Он верил пророчеству отца Матвея, верил его предсказанию о конце вре-мён, когда на циферблате часов опадут стрелки, как листья с дерева. Все из-вестные доселе истины, все науки и уложения, на которых была основана его прежняя жизнь, оказались ложными, не спасли мира. И теперь остава-лось только одно учение, в которое веровали эти измученные русские люди, и он шёл вместе с ними.

С неба упала бесшумная птица, несколько раз пролетела над богомоль-цами, заслоняя звёзды. И безмолвная сова тоже летела спасаться, и ей фо-нарь освещал путь к спасенью.

С неба падали тихие звёзды, оставляя разноцветные дуги, — зеленова-тые, розовые, голубые.

— Это ангелы слетают на землю. Стелют скатерти, готовят пир Госпо-ду, — произнёс отец Матвей. И Лемехов представил, как приближается к земле светящийся Ангел, машет крыльями, замедляя бег, стелет на траву скатерть, расставшая на ней дорогие сосуды.

Все они, идущие по дороге, были волхвами, несущими Господу Дары. Лемехов из-под пепла своей загубленной жизни извлекал драгоценности, ко-торые пощадил огонь.

Бабушка дремала, опустив голову на зелёную шерстяную подушку с малиновым вышитым маком. И он видел, как серебрятся её волосы, слабо вздымаются плед. И такое умиление, такое обожание, такая нежность к её чудесному любимому лицу переполняли его душу...

Отец поднял его, прижал к груди и несёт в реку, в огромный блестящий поток. И такой страх от этого могучего блеска, и такая зависимость от отца, от его крепких, обнимающих рук. Необъяснимое детское благоговение перед рекой, отцом, их неразрывными, на всю жизнь, узами.

С женой — ещё не женой, а невестой, — они идут по мартовской дороге среди слепящих снегов. В колеях текут солнечные ручьи, блестят длинные золотые соломины, и шумно перелетает стая овсянок, нахохленных, коричнево-жёлтых, и они окружены птичьим свистом, солнцем, обожанием друг друга среди пылающих весенних снегов.

Лемехов нёс эти Дары Господу, думая, что его появление в жизни оправдано этими священными мгновениями.

Перебрали плоский ручей. Лемехов почувствовал, как промокли ноги. Приблизились к лесу, заслонившему звёзды чёрной зубчатой стеной, стали спускаться с горы в низину, полную холодного тумана.

— Вот и дошли. Вот она, Богом зданная пещера. — Отец Матвей оставил ходоков перед чёрным провалом, зиявшим в горе. Фёдор наклонил фонарь, вошёл в пещеру, и все они потянулись за фонарём внутрь горы.

Тусклый фонарь осветил уходящие вверх своды, ниши, горловину, удивившую вглубь горы. Пещера ждала ходоков. На земле лежали матрасы, стояла лавка с подсвечниками, пестрела бумажная иконка. Фёдор ставил в подсвечники свечи, зажигал. В жестяном ведре слабо поблёскивала вода.

Семён Семёныч устанавливал на лавке часы, и свечи озаряли бегущую стрелку. Стало светлее. На стенах качались тени. Лемехов видел бородатую тень Фёдора, Егорушку, без сил опустившегося на матрас, лицо беременной Анюты с открытым, тяжело дышащим ртом. На него вдруг навалилась усталость, необоримое желание спать. Он опустился на матрас, слыша голос отца Матвея:

— Сия пещера создана Богом для последних времён. Потому и зовётся — Богом зданная пещера.

Голос священника слился в ровное жужжанье, а сам он превратился в шмеля. Закружились пуганица дорог, по которым шли богомольцы с крестом и часами, и Лемехов упал в мягкий бархатный сон, сомкнувший над ним бестелесные волны.

Проснулся он от холода, который исходил от земляных стен. Под сводами пещеры было сумрачно, горели свечи, но вход в пещеру сверкал и переливался перламутром. Снаружи сиял летний день, и его отсветы прилетали вглубь пещеры. Лемехов, не вставая с матраса, наблюдал, как богомольцы развязывают свои кульки, извлекают из них белые ткани и рядятся в них, сбрасывая прежнее облачение.

— На-ка, надень! — отец Матвей кинул Лемехову белый ворох, и тот, не стыдясь наготы, сбросил истлевшую в дороге одежду, стоптанные башмаки и облёкся в прохладную ткань, нежно прикрывшую грудь и живот.

Пещера была полна призрачно-белых людей, напоминала фреску с мучениками.

— Теперь, братья и сестры, когда мы сбросили наши бранные одежды и облеклись в ангельские ризы, белые, как снег, теперь мы должны очистить наши души последней исповедью, чтобы встретить Господа в чистоте и наивности наших преображённых и убелённых душ. Подходите ко мне и исповедуйтесь в самом тяжком своём грехе, который совершили за годы жизни. Ты, Фёдор, подойди первым.

Фёдор в белой рубашке, с чёрной бородой и коричневыми кривыми стопами приблизился к отцу Матвею. Угрюмо и испуганно глядя на крест, сиявший в руке священника, он произнёс:

— Я, того, когда на северах работал, подрался с шофёром, с которым койки рядом в общежитии стояли. Мы сперва, того, пару бутылок выпили, ну, и задрались. За грудки, потом кулаками. Мне под руку, того, нож под-

вернулся, которым резали закусь. Я и саданул ножом, аккурат в горло воткнул. Кровища вдарила, я отрезвел. Вещи похватал и в бега. Не знаю, жив ли, нет ли тот шофёр. А меня никто не искал. Так и живу — всю жизнь ту кровищу вижу.

Фёдор склонил свою всклокоченную бородатую голову, и отец Матвей с силой ударил ему в темя перстами. Перекрестил:

— Господь тебя примет во Царствии Своем. Семён Семёныч, подходи.

Пухленький, с круглым животиком, путаясь в долгополой рубахе, Семён Семёныч опустился на колени:

— Когда в Тамбове работал, сошлись мы с бухгалтершей. Конопатая, на глаз кривая, так её и звали — Галина Кривая. Я у ней на квартире устроился, на всём готовом. Ребёнка прижили. Назвали Сёмой, как и я, — Семён Семёнычем. А потом она мне надоела, и я уехал, даже письма не написал. Не знаю, жива ли она? А сын уж, небось, армию отслужил. Нехорошо получилось.

Отец Матвей стукнул и его в темя перстами:

— Готовься, раб Божий, выйти навстречу Господу нашему Иисусу Христу. Будешь принят в райских чертогах.

Семён Семёныч отошёл от него, и Лемехов заметил, как на его пухлом безволосом лице блеснула слеза.

Люди поднимались со дна своей тёмной тягучей жизни, оставляя в ней отягощавшие душу грехи, становясь лёгкими, просветлёнными, готовясь к чуду бессмертия.

— Виктор, воин Христов, ступай ко мне, — позвал отец Матвей. Солдат Виктор, весь в белом до пят, послушно подошёл.

— Говори.

— Под Толстым-Юртом поймали чечена, который на блок-пост напоролся. Его капитан потрошил, выбивал разведанные. Потом мне отдал: “Отпусти хорошего человека”. Я его на дорогу вывел, гранату ему в штаны положил и толкнул. Ему все кишки вырвало.

— И ты готовься увидеть Иисуса Христа во всей его славе и силе!

Хромой Егорушка пугался больной ногой в белом облачении. На измождённом лице сияли глаза:

— Я в бане за бабами подглядывал, а потом руками блудил. Ко мне бес приходит в виде голой бабы, и я не могу удержаться. Пальцы себе топором хотел отрубить, так меня бес умучил.

— Твоему греху, раб Божий Егор, пришёл конец, и бес от тебя отступил. Теперь ты не бесов, а Христов. Ступай, молись.

Продавщица Ирина сложила руки крестом:

— Я, как на растрате попалась, ждала суда. Мне следовательно говорит: “Ты всю вину на себя не бери. Укажи на завмага. Тебе меньше срок дадут”. Я и оговорила его. Мне по полной дали, и его посадили. Такой мой грех.

— Теперь этот грех сгорит от звезды Кровень. А ты, очищенная, войдешь в Царствие Небесное.

Исповедовалась Елена, оправив кружевной воротник, сдвинула тесно босые туфли, прикрыв глаза чёрной бахромой ресниц.

— Жила я с одним человеком, завклубом, очень его любила. Он меня называл: “Певница, любовь моя”. Появилась разлучница, танцевала народные танцы. Он на меня смотреть перестал, с ней слобился. На Новый год, когда пили шампанское, я ей в бокал порошка подсыпала, от которого сердце останавливается. Да она заметила и поменялась со мной бокалами. Я и выпила, и с тех пор угасла, и никак не умру. Бог меня наказал.

— Прощена, раба Божья Елена, именем Иисуса Христа.

Лемехову казалось, что от каждого, кто исповедовался, отпадает тяжёлая короста, отваливаются камни, и человек становится легче, невесомей, начинает светиться. Все тяготы и грехи, всё уродство и зло оставались здесь, на брэнной земле, обречённой на испепеление. И счастливая душа была готова лететь в божественную лазурь.

— И ты немой, раб Божий, подходи, исповедуйся, — теперь отец Матвей обращался к Лемехову. — Подумай, что такое совершил, за что Господь лишил тебя речи и гонит по земле, как сухой лист.

Лемехов подошёл, как и все, облачённый в белое, как солдат перед смертным боем или мученик перед жестокой казнью. Вся его жизнь вдруг взбурлила, вскипела, как будто в ней возник ураган, и в волнах этой векипешей жизни возникали лица, голоса и поступки, в которых содержалась мука, таилось страдание. Всё его бытие состояло из причинённой кому-то боли. И среди этой стенающей тьмы слышались два крика, два стоны: истощенный крик жены, убившей в себе нерождённого сына по его настоянию, и стон медведя, испутившего дух в осеннем лесу от пули, которую Лемехов ввинтил в его могучее тело. Два этих страшных греха он хотел назвать, встав на колени пред отцом Матвеем. Но вместо языка был шершавый камень, и он издал лишь тупое мычанье.

— Тебя Господь услышал. Жди встречи с Господом, — отец Матвей сложил шепотью три пальца и больно, четыре раза, ударил Лемехова в темя.

— Батюшка, прими мою исповедь! — Анюта, круглая, на тонких ногах, обращала к священнику бледное, в веснушках лицо, на котором умоляюще сияли большие серые глаза. — Прими мой грех, батюшка!

— Ступай прочь! — притопнул на неё босыми ногами священник. — Увязалась с нами, теперь с тобой майся! О таких, как ты, Господь сказал: “Горе беременным и питающим сосцами в те дни”. Ни тебя, ни твоего ублюдка Господь не примет, и ты сгоришь, как сорная трава.

Анюта тихо ахнула, заплакала и ушла вглубь пещеры, опустилась на толстый матрас.

Отец Матвей, отвергнувший гневно Анюту, блистал очами, обращаясь к пастве, напоминавшей больших белых птиц.

— Сия Богом зданная пещера приняла нас в свою обитель, чтобы сберечь нашу очищенную преображенную плоть от пожара и, минуя смерть, открыть перед нами врата жизни вечной, когда осыплются стрелки сих часов, как осыпаются листья с древа земной жизни, — он указал на часы. Перед ними пылали свечи. Бежала секундная стрелка, как крохотная секира, отрезая последние ломтики времени, оставшиеся до скончания века. — Когда сгорят небо и земля, и Господь во Славе Своей явит Свой дивный лик, на месте сей пещеры будет воздвигнут дворец и расцветет райский сад. Станет сей дворец обителью Святого государя Императора со всем его Святым Семейством, которому мы станем служить, вкушая от служения райское блаженство.

Его речь прервал истошный вопль, раздавшийся из глубины пещеры.

— А-а-а! — рвалась оттуда звериная боль и ужас, — а-а-а!

Женщины кинулись туда, где лежала на матрасе Анюта. Мужчины, ещё недавно околдованные мечтаниями отца Матвея, оторопело смотрели издали.

— Никак рождает, — произнёс Семён Семёныч.

— Как ей тут, под землёй родить? — неизвестно кого спросил Фёдор.

— На беду взяла блудницу! Всё ты, Семён Семёныч: “Возьмём” да “Возьмём”! Что говорил Господь? “Горе беременным и питающим сосцами в те дни”. Вот и уготовил Господь блуднице страшную муку.

Крики то раздавались, словно Анюта терпела страшную пытку, то обрывались, и казалось, что она умерла. Ирина и Елена наклонились над ней. Слышались их причитанья:

— Кричи громче, полегчает!

— Тужься, тужься, он и пойдёт!

Лемехов под эти причитания и вопли вдруг постиг, что значат слова Иисуса, на которые ссылался отец Матвей: “Горе беременным и питающим сосцами”. Земному бытию был положен предел, и оно было обречено на испепеление, но жизнь не желала с этим смириться, стремилась себя продлить, рвалась сквозь запрет и смерть осуществить себя так, как её задумал Господь при сотворении мира. Там, на грязном матрасе кричала эта обречённая жизнь, желая перескочить через смертельную черту.

— Ну, чего стоишь! Неси воды! — прикрикнула на Лемехова Ирина. Тот пошёл и торопливо принёс ведро, полное воды, поставил подле матраса. И пока ставил, успел увидеть лицо Анюты, похожее на страшную маску, чёрную дыру рта с блеском зубов, ходящие ходуном скулы, глаза, полные чёрных слёз. Увидел её раздвинутые ноги, которые удерживала Ирина,

и в разъятом лоне что-то тёмное, липкое, похожее на шляпку гриба. Он поспешно отошёл, страшась зрелища судного часа.

Вход в пещеру потемнел, из него ушло солнце. В нём копилась уже вечерняя синева. Часы, озарённые свечами, продолжали тихо шуршать, приближая момент, когда в полночь на эмалевом циферблате сольются стрелки, и наступит конец Света.

Отец Матвей и другие мужчины, стоя на коленях, молились, похожие на белые изваяния. Лемехов опустился рядом. За его спиной, в глубине пещеры, раздался утробный вой, словно стенала сама земля.

Настала тишина, и в этой тишине послышался писк ребёнка. И от этого писка у Лемехова случилось бурное сердцебиение. Словно и его собственная жизнь не хотела покидать этот мир, стремилась удержаться среди этого мира — синего прогала пещеры, пылавших свечей, обильно текущего воска и мимолётного воспоминания о маме, которая перед зеркалом разглаживает ворот синего платья. Значит, пережитые им несчастья испепелили не всё его существо. Значит, осталось в нём нечто, избежавшее адского огня, и на обгоревшем стволе сохранилось несколько живых почек.

Это открытие поразило его. Он слышал рокошующий бас молящегося Фёдора, звяканье ведра, писк ребёнка.

— Умерла, нет, Анюта? — прерывая молитву, спросил Семён Семёныч.

— Господь отсек её от малого стада, — сказал отец Матвей. — Сжёт её блудную плоть.

— А ребёнок? — жалобно спросил Семён Семёныч.

— Господь и ему место укажет.

За спиной, в глубине пещеры раздался жалобный стон Анюты, писк ребёнка, голоса Елены и Ирины, похожие на хлопотливое куриное кудахтанье.

Вход в пещеру померк, снаружи наступала ночь. Часы, озарённые свечами, сияли эмалевым циферблатом, на котором трепетала секундная стрелка. Две другие медленно сближались, указывая последний час перед окончанием мира.

Все стояли перед часами на коленях и молились. Отец Матвей страстно, взывающе озирал циферблат, словно первым хотел увидеть проступающий лик Господень. У Фёдора торчком стояла смоляная борода, и на коричневой шее гулял кадык. Егорушка испуганно и восхищённо шептал, и в его серых глазах стояли слёзы.

Лемехов чувствовал, как между минутной и часовой стрелкой возникало страшное напряжение, уплотнялся мир, сжималась материя, и это сжатие приближало взрыв. Он ждал, когда темнеющий вход в пещеру слабо озарится, в нём польхнёт свет, превратится в слепящую плазму, и жуткий грохот сотрясёт мир. Станет светло, как днём. По всему горизонту поднимутся грибы, похожие на голубые поганки. Небо испятнают разрывы. Загорятся леса и травы. Заплашет зарево гибнущих городов. Вскипят океаны, и в кипящем рассоле станут всплывать сваренные киты.

Всё, чему он посвящал свои таланты и нескончаемые труды, всё, что превращало его жизнь в осмысленное служение, всё это раскалывало планету, брызгало ядовитой плазмой, превращая её в шар огня. Все бомбардировщики и ракеты, ядерные заряды и дальнобойные лазеры, авианосцы и подводные лодки складывали свою разрушительную мощь в единый взрыв, от которого раскалывалась планета, и из неё истекала малиновая мякоть.

— Господи, помилуй! — то ли пропел, то ли простонал Семён Семёныч, и Ирина, задохнувшись, тихо всхлинула.

Стрелки сближались. Отец Матвей воздел руки, словно готов был принять ниспосланный с неба дар. Читал нараспев “Отче наш”:

— Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет Воля Твоя яко на небеси и на земли...

Он ждал прихода этого царства, которое было обещано человечеству. Люди ждали его две тысячи лет, пропадая бесследно среди войн, напастей и злоключений. И вот, наконец, молитва их была услышана, и райское царство на Земле через минуту настанет.

Просвет между стрелками почти исчез. Лемехов вдруг испытал ужас,

почти лишился дыхания. Словно каждая его клеточка, каждый кровеносный сосудик ожидали своего конца, противились, не хотели исчезать. Старались задержаться в этой жизни, цеплялись за неё, а их отрывало, и они беззвучно кричали.

Солдат Виктор закрыл ладонями уши, словно ожидал орудийного выстрела. Елена упала лицом на землю, и спина её мелко дрожала.

— Господи! Господи! — возопил отец Матвей, когда три стрелки сомкнулись, и казалось, часы остановились перед тем, как сбросить ненужные стрелки и явить на белой эмали чудесный лик.

Но лика не было. Секундная стрелка продолжала бежать. Между двумя другими стрелками обнаружился просвет. Время перепорхнуло полночь и продолжало длиться. Стоящие на коленях люди перестали молиться и смотрели на часы. Было слышно, как в глубине пещеры заплакал ребёнок и умолк. Семён Семёныч слабо охнул. Лемехов после пережитого напряжения испытывал опустошённость, в душе ровно гудела невидимая струна. У отца Матвея по лицу гуляли вздутия, словно его раздувало страшным давлением, как глубоководную рыбу. Он взирал на часы, вонзая в них чёрные огненные лучи своего взгляда, словно сжигал ими ненужное время, образовавшееся после конца света.

— Господь попустил нам ещё два часа, чтобы мы пристально заглянули себе в душу и разглядели забытые, не названные на исповеди грехи, — он обернулся к пастве. — Молитесь, молитесь!

Время текло. Свечи у часов догорали, Семён Семёныч менял их на свежие. Иногда было слышно, как начинает плакать ребёнок, и Анюта успокаивает его шелестящим голосом.

Лемехов испытывал усталость. Жизнь в нём притаилась, словно боялась спугнуть кого-то, кто даровал отсрочку. Лемехов прислонился плечом к сырой стене и спал наяву. Ему снились озарённые свечами часы, бегущая стрелка, белые рубахи молящихся и чёрно-красная бабочка-крапивница, которая залетела к ним на веранду, покружилась над седой бабушкиной головой и улетела обратно в сад.

Он очнулся от страшного рыка, который издавал отец Матвей.

— Это она, блудница! Она не угодна Господу! Он ждёт, когда мы извергнем её из нашей обители и освободим путь Господу! Она своим блудным грехом запечатала врата рая и не пускает нас в Царствие Божие! Вон отсюда! Изблюем её, как гнилой плод! — Он рычал, указывая перстом вглубь пещеры, где тонко плакал ребёнок. Вход в подземелье начинал слабо светиться, наполнялся робкой синью рассвета.

— Вон! Вон! Фёдор, Семён Семёныч, ступайте, киньте её на съедение бесам! Заклинаю вас именем Господа, ступайте и извергните!

Отец Матвей был страшен. Глаза пучились, вращались в глазницах. Белый клок в бороде сверкал, как нож. Косица на затылке распалась, и чёрные волосы лезли в кричащий рот.

Фёдор стоял на коленях костяной и недвижимый. Семён Семёныч закрыл ладонями лицо. Елена и Ирина тихо выли. Солдат Виктор, не вставая с колен, сел на землю и тупо смотрел на всех.

Лемехов вдруг испытал облегчение, почти радость. Он тихо ликовав и любил их всех. И кричащего в тоске отца Матвея, и мужиков, облачившихся в балахоны мучеников, и женщин, своим воем напоминавших плакальщиц. И Анюту с истерзанным лоном, из которого вышел младенец и уже жил, дышал, подавал голос в этом мире, который уцелел, чтобы младенец возрастал.

Лемехов поднялся, снял белую ткань, медленно переделся в свои одежды и пошёл вглубь пещеры, где на матрасе лежала Анюта и рядом с ней похожий на кулёк младенец. Анюта испуганно взглянула на него, заслонила собой ребёнка. Лемехов хотел сказать ей тихое ласковое слово, но смог только что-то неясно прокурлыкать, подражая дельфину. Анюта подняла на него умоляющее лицо. Лемехов осторожно погладил её волосы, и она затихла от его нежного прикосновения. Он кивнул туда, где горели свечи, стояли на лавке часы, и наливался слабой синевой вход в пещеру. Протянул руки ладонями

вверх, приглашая её положить на его ладони ребёнка. Анюта поняла, приподняла кулёк, положила на ладони Лемехова, и тот ощутил крохотное, почти невесомое тельце, его живую пульсацию, слабое тепло. Повернулся и понёс, как несует драгоценность. Анюта, охнув, поднялась и пошла следом.

Он миновал стоящих на коленях богомольцев, вышел из пещеры. Перед ним раскрылся, распахнулся во всей красоте и торжественности утренний мир. Небо над головой ещё оставалось тёмным, и в нём горело несколько звёзд. Но восток уже был оранжево-жёлтым. Недвижная латунная заря стояла над лесами, отражалась в озёрах и реках, безмолвно и величаво, словно и впрямь случилось преобразование мира, и он сиял во всей своей райской красоте. Пели птицы, ещё невидимые в тёмном лесу, но уже встречавшие зарю.

Лемехов держал младенца, словно дарил его преобразенной земле, и земля, и заря, и зеркальные воды принимали этот дар.

Он шёл по дороге, останавливаясь и поджидая Анюту, и та попевала за ним, переводя дух.

Лемехов нёс младенца, и ему казалось, что незримо взиравший на него Господь отпустил ему один из грехов — гибель его нерождённого чада.

### Глава тридцать третья

Лемехов продолжал свои странствия, как крохотное пернатое семечко, подхваченное огромным ветром. Его опускало на камни, где было невозможно взрастание. Он падал на благодатную почву, но не успевал укорениться, и его тут же уносило дальше. На него налетали птицы, готовые склевать, но ветер подхватывал его, спасая от хищных клювов.

После пережитого потрясения, которое разрушило всю его жизнь, он медленно восстанавливался. Но это не напоминало реставрацию рухнувших зданий, расчистку площадей и проспектов. На месте развалин создавался новый город, с иной планировкой, иной архитектурой, не похожей на прежние строения. Он ещё не понимал, каким будет этот новый город. Только знал, что существует архитектор, существует сокровенный замысел, и его душа является местом нового строительства.

Он оказался в Якутии, на Лене. Устроился матросом на небольшой теплоход, принадлежавший владельцу пароходства Топтыгину. В эти летние дни Топтыгин гнал на север танкеры с горючим, сухогрузы с продовольствием и машинами. Туда, где геологи бурили скважины, промышленники добывали нефть и алмазы, военные радары щупали небо над Арктикой.

Лемехов на борту теплохода занимался самой чёрной работой: драил шваброй палубу, убирал каюты, прислуживал хозяину. Во время швартовок набрасывал канаты на чугунные тумбы пристани. Иногда его звал на помощь механик, молодой якут с круглым лицом, напоминавшим пиялу. На ней словно кисточкой были нарисованы узкие глаза, дырочки носа и рот. Механик регулировал дизель, его масляные сияющие механизмы. Лемехов тяжёлым ключом придерживал гайку или закручивал винт, а механик, привыкший к немоте Лемехова, разглагольствовал:

— Мы, якуты, произошли от Чингисхана. Когда Чингисхан шёл завоевывать вас, русских, он оставил отряд в Якутии охранять алмазы. Но Чингисхан умер в походе, а вы пришли и отняли у нас наши алмазы и нашу нефть. Но скоро Чингисхан вернётся и отберёт у вас наши алмазы и нашу нефть.

При этом на фарфоровых скулах якута светились два маленьких алых цветочка.

Иногда Лемехов поднимался в рубку, где капитан с шершавым, как тёрка, лицом и чёрными пиратскими усами крутил штурвал среди бескрайних потоков реки, проплывая мимо далеко отступивших берегов редких прибрежных селений. Капитан брал рацию и в сияющий эфир таким же сияющим голосом произносил:

— Я — Онега! ...Как слышишь меня, Ока? ...Где ты там потерялся?

И в ответ хрипящий голос, словно из Космоса, отзывался:



— Я — Ока! ...Григорич, у тебя есть диск с “Любэ”? ...Оставь мне у Данилыча, на Ленских столбах!..

Рация умолкала, а капитан, подумав, включал динамик, и над сияющими водами неслось: “Комбат, батяня, батяня, комбат”. И Лемехову казалось, что среди безлюдья музыку слушает и плеснувшая рыба, и мелькнувшая на солнце птица.

Теперь он мыл палубу, орудуя шваброй. Окатывал водой железные, крашенные в серое листы. Тёр, драил, давил, выжимал из швабры грязную воду, выплёскивал за борт. Потом набирал свежей воды, кидая за борт жестяное, привязанное за верёвку ведро. Палуба гудела, дул свежий ветер, пахло рекой, рыбьей молокой, соляркой и далёкими голубыми лесами. На влажной палубе у железного борта, омытое водой, проступало пятно, напоминающее павлина, распустившего хвост. Пятно исчезало, как только палуба начинала сохнуть. Лемехов, не давая исчезнуть пятну, проводил по нему шваброй. Он вспомнил, что ироничный журналист в своей статье назвал его павлином, и тогда это оскорбило его. Теперь же это воспоминание не задевало его, и он удивлялся той давней боли и горечи, которая улетучилась среди необъятных безлюдных вод. Он смотрел на павлина, присевшего на железную палубу, и эта птица направляла корабль к сверкающему горизонту, где великая река вливалась в океан.

Выплеснул грязную воду за борт. Кинул ведро в реку, обмотав верёвку вокруг кулака. Почувствовал рывок, ведро наполнилось, несло за бортом, не отставая от корабля, поднимая бурн. Лемехов чувствовал натяжение верёвки, сопротивление воды, гигантский космический напор реки, силу корабельного двигателя. Мятое ведро было прибором, с помощью которого он исследовал вращенье Земли, скорость корабля и речного потока, биение своего сердца, соединённого верёвкой с необъятным мирозданием.

Подумал, что ещё недавно, в прежней жизни, он был окружён приборами, которые управляли ракетами, ядерными реакторами, брали пробы кипящих металлов, измеряли микроны ювелирно отшлифованных поверхностей. Но ни один из этих приборов не мог сравниться с мятым ведром и верёвкой, которые соединяли его с Мирозданием. Он не торопился извлекать ведро из реки, наслаждаясь полнотой своего общения с миром.

Он увидел, как на палубу вышла корабельная буфетчица Фрося. Ветер давил на тонкое платье, лепил ей груди, крепкие бедра, круглый живот с выемкой пупка. Фрося переступала по палубе, свешиваясь за борт, туда, где бурлил убегавший клин волны. Приближалась к Лемехову. Её светлые волосы поднимались лёгкой копной, серые глаза щурились от блеска водяных разливов.

— Ну, что, Немой, трёшь свою сковородку? Три, три, только до дыр не протри, а то утонем, — Фрося насмешливо морщила губы, наблюдая, как Лемехов водит шваброй вокруг таинственного, проступившего на палубе павлина. — Разве это твоя работа? Ты человек культурный, тебе головой бы работать, а не грязь скрести. Как ты здесь оказался? Видно, крепко тебя потрянуло. Если бы у тебя язык во рту шевелился, много что мог бы рассказать. Ну, да все, кто здесь, на северах оказался, всех крепко в жизни потрянуло.

Фрося была расположена к разговору, присела на пожарный ящик с песком. Сжимала платье коленями. Ветер выхватывал ткань, обнажал крепкие белые бедра, а Фрося снова их закрывала.

— Наш-то, Топтыгин, опять с нужным человеком водку пьёт. Какой-то московский, блатной. Наш-то из него больше горячего хочет выкачать. Всё какие-то квоты да квоты. Всё об этом квакают. Третью бутылку пьют. Наш-то держится, он боров здоровый. А этот московский — дохляк. Шейка тощая, с палец. Усики, как у крысы. И лысина жёлтая, словно натёртая сыром.

Лемехов отложил швабру, слушал Фросю, прислонившись к лебедке, на которую была намотана якорная цепь.

— Сейчас третью бутылку добьют, и Топтыгин меня позовёт: “Давай, Фрося, проводи гостя в каюту”. Он меня, думаешь, для чего держит? Для этого дела.

Лемехов слушал Фросю, которая не требовала, чтобы ей отвечали. У неё не было на корабле собеседника, и она разговаривала с Лемеховым, как порой разговаривают с лошадьми, коровами или домашними котами, не ожидая, что они отзовутся.

— Ничего, потерял. Я ведь денежки-то откладываю. Вот скоплю и — прощай Топтыгин! Уеду на юг, на Кубань. У меня там дом хороший, виноград, яблони. Тёплое море близко. Там меня хороший человек ждёт. Любит. Мы с ним вместе в школе учились. “Выходи за меня!” — говорил. А я не пошла. Он и говорит: “Буду ждать тебя всю жизнь. Красивей тебя нет”. Я ему письмо написала: “Скоро приеду”. Как же он обрадовался!

Лемехов видел, как обветренное, с широкими скулами лицо Фроси мечтательно озарилось, как озаряется лицо артиста, читающего стихи о любви. Это озарение держалось минуту, а потом померкло. Она виновато улыбнулась:

— Не верь мне, Немой, всё я соврала. Нет никакого дома, ни винограда, ни яблонь. Нет тёплого моря, и человека нет. Так, мечтаю и сама себе вру. А потом хоть плачь.

Великая река катила несметные воды к океану, и судьба этой женщины, и судьба Лемехова, как две крохотные капли, влеклись к полярным сияниям. Их мнимая отдельность была временна и преодолима. Они сольются в океане с другими человеческими жизнями в то целое, чем они были до своего рождения.

— У меня дочка на берегу, учится на медсестру. Я деньги для неё зарабатываю. Выучится, и мы отсюда уедем. В Воронеж или Липецк, где потеплее. Она замуж выйдет, мне внуков родит. Я буду внуков растить, а у неё, у дочки, может, жизнь лучше моей получится.

Ветер пахнул, рванул платье, стал срывать невидимыми жадными руками. Она ловила платье, стараясь закрыть голые ноги, запахивала грудь, отнимая воротник у незримых буйствующих рук.

— А ты, Немой, если хочешь, я к тебе в каюту приду. Ты мужчина видный. Я бы к тебе прилепилась.

Фрося засмеялась и пошла по палубе, то и дело хватая подол, словно вырывалась из чьих-то бурных объятий.

Лемехов видел, как она скрылась за железной дверью. Подумал, что за всё это время, пока его кружило по дорогам и рекам, ни разу не взглянул на женщину с вожделением. Не вспомнил Ольгу, с которой, как два дельфина, они ныряли в бассейне. Не вспомнил женщин, которые на краткое время кружили ему голову, а потом исчезали из его жизни бесследно. Даже мысли о жене в тот упоительный карельский медовый месяц были теперь целомудренны: он вспоминал о негасимых зорях, о волшебных озёрах, о застывших малахитовых отражениях.

Фрося опять появилась. Не подходя, крикнула:

— Эй, Немой, тебя Топтыгин зовёт. Хочет, чтобы ты ему строганины нарезал.

Лемехов сквозь железные переборки, пахнувшие краской, соляжкой, кисловатыми запахами трюма, поднялся на камбуз, где стояла закопченная плита и тускло сияли сковороды и кастрюли. Взял загодя извлечённую из морозильника нельму, кухонным ножом отсёк хрустящие плавники. Ударяя сталью в рыбью башку, отделил её от туловища. Видел, как в голове мертвенно светится глаз. Мясо на срезе было розовое. Как жемчужина, светился рассечённый позвонок.

Лемехов поставил рыбу стоймя, хвостом вверх. С силой давя на нож, стал срезать с рыбы тонкие лепестки, чувствуя, как неохотно погружается нож в ледяную плоть. Лепестки похрустывали, загибались на концах, словно стружки. Так щиплют полено, нарезая из него лучину.

Лемехов вдруг вспомнил, как в ресторане “Боттичелли” официант принёс к столу на деревянном подносе рыбу сибас, обсыпанную кристаллами льда. Серебряная рыба смотрела золотым глазом, совсем, как эта нельма. И сидящий рядом Верхоустин отверг принесённую рыбу, потребовал другую. Теперь, в этом замызганном камбузе воспоминание о роскошном ресторане, о хрустале и фарфоре, официантах в костюмах венецианских дождей — это

воспоминание было случайным и лишним, не тронуло его. Не тронуло воспоминание о Верхоустине, человеке, который испепелил его жизнь, превратил её в золу. Значит, это было угодно Творцу, и синеглазый колдун действовал не по собственной воле, а по наущению Божьему. Творец предал огню всё, что могло стореть, превратил его жизнь в прах. Но кое-что в ней уцелело. Он не знал, что именно уцелело. Но оно оставалось жить, и это побуждало его кружить по дорогам и рекам в ожидании встречи с чем-то таинственным, безымянным, обещающим воскрешение.

Лемехов настрогал розовый, нежно пахнущий ворох рыбьего мяса. Положил на блюдо и понёс в кают-компанию, где хозяин пароходства Топтыгин угощал именитого гостя.

В кают-компании стол был уже нарушен, на тарелках лежали остатки мясных закусок, куриные кости, разворошённые овощные салаты. Стояли бутылка водки, мокрые рюмки. Топтыгин был багровый, с лицом, напоминавшим стиснутый кулак, в желваках, жилах, яростных тёмных складках. Из этих злых складок смотрели зоркие синие глазки, исподволь наблюдавшие за гостем. Лысоватый, с унылым носом, под которым топорщились куцые усики, с худым кадыком на тощей шее, гость был пьян, качал из стороны в сторону головой, приговаривая:

— Вы здесь, а я там. Вы здесь, а я там.

— Вы там сверху на нас глядите, Антон Афанасьевич, как с самолёта. А мы тут с земли на вас смотрим и любимся.

Лемехов поставил на стол блюдо с розовой строганиной. Топтыгин приказал ему:

— Разлей нам водки и сам садись, — повернулся к гостю. — У нас, конечно, Антон Афанасьевич, нет итальянской кухни. Разных там ракушечек, устричек, червячков. Зато строганиной угощаю от сердца. Ели когда строганину, Антон Афанасьевич? Смотрите, как надо!

Лемехов наполнял рюмки, а Топтыгин положил на свою тёмную корявую ладонь розовый лепесток мяса. Потряс солонкой. Тряхнул несколько раз перечницей. Свернул лепесток в рулончик.

— Это якутская кухня, — он подмигнул гостю хитрым синим глазом. Опрокинул рюмку водки в большой тёмный рот, запихнул следом рулончик. Морщась, двига желваками, стал жевать большими собачьими зубами. — А ну, Антон Афанасьевич, теперь вы! По-якутски!

Гость, подражая Топтыгину, раскрыл узкую, с тощими пальцами ладонь. Положил строганину. Посолил, поперчил. Но рулончик у него не получился. Выпил водку, схватил зубами розовый лепесток. Шевеля усами, заглывал и давился.

— Ничего, Антон Афанасьевич, привыкнете — якутом станете. К утру подойдём к Ленским столбам. Там вертолётom на речку, где не ступала нога человеческая. Такой рыбалки вы не видали, Антон Афанасьевич. Рыба ленок, слышали? Бросил, вынул! Бросил, вынул! Я вам праздник устрою!

Он обхаживал гостя, угождал ему. Не в первый раз принимал на борту нужного человека.

— Вот анекдот, Антон Афанасьевич. Стоит якут в карауле. Идёт человек. “Стой! Говори пароль!” — “Пошёл на хер!” Пропустил, а сам думает: “Странно. Два года служу, а пароль не меняется!” — Топтыгин захохотал, зорко наблюдая за гостем, как опытный повар наблюдает за блюдом, которое поспекает. Видно, блюдо поспело, потому что Топтыгин отодвинул водку и строганину. Навалившись на стол, потянулся к гостю:

— Вы, Антон Афанасьевич, видите мою работу. Кровь из носа, а корабли на север гоно. Флот устарел, корабли выходят из строя, а груз на север гоно. В Лене воды с гилькин нос, многотоннажные танкера не проходят. Перекачиваю соляру в плоскодонки, а северный завоз толкаю. Буровики ждут, геологи ждут, алмазные карьеры ждут, военные ждут. Их не интересует, как Топтыгин грузы доставит. Хоть по реке, хоть по зимнику, хоть на своем горбу. Я и доставляю. Помогите, Антон Афанасьевич! Дело государственное!

Гость вяло жевал рыбу. Подносил к печальному носу розовый ломоть, нюхал, а потом совал под куцые усы и жевал.

— Всё в вашей власти, Антон Афанасьевич. Одно ваше слово, и мне увеличат квоту. Хоть бы на треть. Я на выручку отремонтирую флот, почию причалы, закуплю пароходы. И, конечно, вас не забуду. Десять процентов, Антон Афанасьевич, это по-божески!

Гость жевал, сонно прикрыв глаза, словно не слышал.

— Пятнадцать процентов. Всё в вашей власти. Вы же такой человек. Одно ваше слово!

Гость положил в рот ломоть строганины. Она свисала у него изо рта, словно он высунул длинный розовый язык. И сам же его сжевал.

— Двадцать процентов, Антон Афанасьевич. Вы же великий человек. К вам сам президент прислушивается.

— На форуме я выступал, конечно, — ответил гость, проглатывая ломоть рыбы. — Я включён в экспертную группу по Арктике.

— Ну, какая Арктика без северного завоза, Антон Афанасьевич! Ведь мы же государственные люди! Сделаем дело по квоте!

Гость потянулся к рюмке, которая оказалась пустой.

— А ну, налей! — приказал Лемехову Топтыгин. Тот разлил водку. — За вас, за ваш ум. Вы же знаете, к кому как зайти и как выйти! Так сделаем дело?

Гость молча выпил, схватил лепесток нельмы. И прежде чем положить себе в рот, сказал:

— Сделаем. Двадцать процентов. — И Топтыгин в ответ победно блеснул глазами.

Лемехов понимал суть сделки. Понимал хитросплетения мучительной деятельности, в которую были вовлечены компании, предприятия, руководители ведомств, чиновники министерств. Работая в правительстве, он был знаком со множеством комбинаций, законных и незаконных, благодаря которым жила экономика и развивалась промышленность. Эти комбинации помогали управлять заводами и лабораториями, получать заказы на изделия, приобретать оборудование. Теперь же он был равнодушен к этим изощрённым приёмам, был вне этих комбинаций, покинул кипящую, едкую опасную среду, где создавались репутации, складывались карьеры, творилась политика. Всё это оказалось ненужным, сторело вместе прежней жизнью, не питало таинственный, совершавшийся в нём рост, не было почвой, из которой начинал тянуться загадочный стебель его новой жизни.

В кают-компанию, в приоткрытую дверь сунулась Фрося:

— Не надо чего?

— А ну, иди сюда, Ефросинья! — приказал Топтыгин. — Покажи Антону Афанасьевичу его каюту.

— Я же показывала, — капризно отнекивалась Фрося.

— Кому сказал, покажи! — прикрикнул Топтыгин. — Антон Афанасьевич, отдышайте. Завтра с утра прибудем к Ленскому столбам. А там на вертолёт и на речку. Кинул, вытянул! Кинул, вытянул!

Гость поднялся, нетвёрдо стоя на ногах. Под усами его вяло улыбались мокрые губы:

— Покажи каюту, а то заблужусь. А нам ещё квоту пересматривать надо.

Они с Фросей ушли. Следом тяжело поднялся Топтыгин:

— Двадцать процентов! Жулик министерский! Как так можно работать? — повернулся к Лемехову, кивая на разгромленный стол. — Ты, давай, приберись здесь. Завтра готовься, полетишь с нами на речку! — и вышел, сердито ворча.

Лемехов, оставшись один, убирал со стола. Складывал испачканные тарелки, объедки рыбы, пустые бутылки. Тряпкой вытирал пятна жира. Он, как слуга, выполнял приказание хозяина, не испытывая при этом ропота, не чувствуя унижения, не чураясь грязной работы. Ещё недавно он повелевал множеством подвластных ему людей, которые трепетали от его строгого взгляда, робели от его недовольных замечаний. Его воля управляла заводами, лабораториями, полигонами. Его слушались генералы, директора заводов, прославленные учёные. Теперь же он служил самодовольному и хитрому дельцу, выполняя его грубые приказы и прихоти. И это не задевало его

гордыню. Не было гордыни. Не было прошлого. Было чуткое вслушивание в потаённое взросление души, страх перед тем, что оно остановится.

### Глава тридцать четвёртая

Утром, выходя на палубу, он увидел Фросю. Она покидала каюту, где обитал гость Антон Афанасьевич. Простоволосая, оправляла блузку. Заметив Лемехова, раздражённо повела плечом.

Теплоход, сбросив скорость, медленно причаливал к берегу. Река была огромной, солнечной, в бескрайнем блеске. Берег являл собой фантастические горы, которые разрубил громадный колун. Каждая гора казалась пятернёй с торчащими каменными пальцами, будто из-под земли торчали руки погребённых великанов, застывшие в предсмертной каменной судороге. У причала стоял серебристый танкер. По берегу ходили люди. Донёсся смолистый запах дымка.

На палубу вышли Топтыгин и Антон Афанасьевич. Гость недовольно шурился на сверкающую реку, на расколотые горы, словно его пугали эти каменные пальцы, готовые сжаться в чудовищный хрустящий кулак.

— Пойдёмте, Антон Афанасьевич, на берег, я вам подарок приготовил, — глаза Топтыгина из-под косматых бровей довольно оглядывали реку, танкер, каменные, хватающие небо пальцы. Всё это принадлежало ему. Все-му он был хозяин. Всем этим потчевал именитого гостя. — Ты, Немой, забери на берег сумку с водкой, палатку, спальники, спиннинги. Вертолёт тебя забросит на речку, там нас жди. И стол приготовь. А мы с Антоном Афанасьевичем через час прилетим и порыбачим до вечера.

Лемехов сгрузил с теплохода поклажу и стал ждать, когда прилетит вертолёт. Топтыгин помогал гостю спуститься по трапу. Лемехов увидел то, что Топтыгин называл подарком гостю.

На берегу, у подножья горы, напоминавшей расколотую пятерню, было построено декоративное стойбище. Торчали островерхие чумы. Перед ними стоял шаман, облачённый в рыжую хламиду с блёстками и костяными амулетами. Тут же находилась женщина в зеленоватом облачении, с множеством блестящих подвесок. Оба были немолоды, с желтоватыми якутскими лицами. Среди морщин на этих лицах проглядывала древняя усталость, и покорность Бог знает какой неодолимой воле, что поставила их среди бу-тафорских чумов на потеху заезжему люду. Каменная пятерня возносила над ними зазубренные пальцы, не давала убежать, готовая схватить и водворить на место.

— Ну, давай, Никифор, пошамань вместе с женой, чтобы нашему дорогому гостю Антону Афанасьевичу помогали в дороге духи. — Топтыгин чуть подмигнул шаману, и тот устало опустил веки и снова поднял их над узкими печальными глазами.

Лемехов чувствовал эту печальную безысходность. Шаман и его жена напоминали пойманных птиц, которых поместили в неволю, подвергли дрессировке, заставили выступать перед публикой в цирке. И те смирились, принимали пищу из рук дрессировщиков, тайно тоскуя по воле.

— Ну, давай, Никифор, шамань!

Шаман Никифор затоптался, закружился на месте, затряс амулетами. Вместе с ним кружилась жена вокруг обложенного камнями кострища, где был набросан хворост. Гость Антон Афанасьевич пританцовывал в такт, насмешливо улыбался — милостиво принимал подарок.

Шаман зажигалкой запалил хворост, прикрывая ладонями игривый огонёк. Забормотал:

— Тёмный дух, улетай! Из горы улетай! Из реки улетай! Из тайги улетай! Из тундры улетай! И с неба улетай! Чтобы люди проплыли, прошли, пролетели, а ты от них отступи!

Шаман кружился вокруг огня, поворачивался на все стороны света, взмахивал руками, прогоняя злого духа, как прогоняют назойливую муху. Жена повторяла его движения.

— Теперь буду просить добрых духов, чтобы они помогли тебе в дороге! — шаман обратился к гостю, который наслаждался экзотическим зрелищем. — Повторяй за мной!

Он воздел руки к небу. Топтыгин и гость Антон Афанасьевич тоже воздели руки.

— Духи света, духи леса, духи реки, духи гор, духи ягод, духи рыб, духи птиц, дайте мне свою силу!

Он извлёк из кармана свистульку, приложил ко рту и издал долгий вибрирующий звук, будто заныла, затрепетала струна. Этот дребезжащий унылый звук полетел в горы, к реке, к белому облаку. Женщина танцевала, звенела погремушками. Топтыгин и гость тоже танцевали. Лемехов казалось, что для заезжего гостя это была не только забава, но он и впрямь вымаливал у языческих духов благополучие и достаток, за которыми явился на край земли.

Лемехов слушал дребезжанье свистульки, которая должна была породить вибрацию вод, камней и небес, разбудить дремлющих духов, испросить у них благополучие и могущество.

Но духи не просыпались. Магическая свистулька была забавой. Её звук не проникал в толщину гор и глубину вод. Шаман и его жена были пленниками, у которых отняли их чудодейственный дар и выставили на потеху зевакам. Горы, река, белое облако смотрели на шамана с печальным безмолвием. Лемехову казалось, что они испытывают к пленнику сострадание.

— Ну, спасибо, Никифор, хорошо пошаманил, — Топтыгин извлёк из кармана деньги, передал шаману, и тот торопливо сунул их в складку хламиды. — Теперь пошли, Антон Афанасьевич, дело делать! — приобнял гостя и повёл его по берегу к стоявшему танкеру.

В небе застрекотало. Над рекой возник крохотный вертолёт. Сделал круг над сияющими водами, опустился на берег, разгоняя винтом водяное солнышко.

Лемехов потащил к вертолёту поклажу. В прозрачном пузыре кабины, кроме лётчика, могли разместиться ещё два пассажира. Лемехов перебросил в кабину палатку, спальники, мешок с припасами. Угнезвился в стеклянной колбе. И лёгкая стрекозка оторвалась от земли, взмыла ввысь, уклоняясь от каменных хватающих пальцев. Развернулась над необъятным разливом Лены и понеслась над мохнатой тайгой, над солнечными вершинами и тенями, полными тумана распадками.

Лемехов ощутил счастливую лёгкость и радостное доверие — не к пилоту в наушниках, не к сверкающему над головой кругу, — а к той волнистой таинственной линии, по которой двигалась его жизнь, подчиняясь божественной воле, что влекла его по земным и небесным путям.

Полёт продолжался недолго. Внизу сверкнула река, чёрно-блестящая, петлявшая в горах, вершины которых казались тёмными куличами, расщеплёнными надвое.

Сделав заход над рекой, вертолёт опустился на отмель, и Лемехов, не успев оглядеться, поспешно выгрузил поклажу. Вертолёт, как пернатое семечко, взмыл, и его унесло за гору, а вскоре умолк и его стрекот.

Лемехов оглянулся вокруг и безмолвно ахнул. Мимо неслась река в чёрных водоворотках с серебряными завихрениями, словно со дна всплывали слепящие слитки. За рекой громадно, заслоняя небо, вставали горы, и каждая словно была распилена надвое. Одну половину горы унесли, и открывался срез, похожий на громадную каменную страницу. Эта страница была покрыта тёмными письменами, будто скрижалё с загадочным текстом. Одна страница прилегалась к другой, словно кто-то разложил отдельными страницами громадную книгу. Тёмные знаки, иероглифы, символы слагались в священный трактат, повествующий о сотворении мира.

Лемехов старался разгадать иероглифы. Они были вырезаны на камне неведомым великаном, таинственным летописцем. Они рассказывали о первых днях творенья. У него возникло такое чувство, что сюда, в этот грозный и дивный храм привела его воля Всевышнего, чтобы открыть закон, по которому был создан мир. Объяснить, как с этим законом соотносится его, Лемехова, жизнь, его крушение, гибель и медленное воскрешение.

Он стоял, благоговей, глядя на эти каменные печати, каждая из которых оставляла отпечаток в его душе. Он постигал священный текст и божественный закон не разумом, не глазами, а дышащей грудью, на которую ложилась каменные оттиски.

На вершинах гор росли тонкие островерхие ели. Им не хватало тепла и света. Они кренились все в одну сторону, как нагнул их полярный ветер. Высоко в небе пролетел ворон и скрылся в расселине, оттуда раздалось его вещее карканье. Река несла в своих чёрных потоках серебряные браслеты и ожерелья. И Лемехову казалось, что сюда с наступлением темноты сойдутся великаны — те самые, что населяли молодую землю, и горы загудят от их каменных голосов.

Вертолёт с Топтыгиным и московским гостем мог вернуться в любую минуту, и Лемехов стал готовиться к их прилёту. Поставил палатку. Собрал дрова. Сложил из камней очаг. Пошёл к реке и зачерпнул в котелок воды. Почистил и бросил в воду картошку, лук, всыпал ложку соли. Все было готово для ухи, а рыбу, как уверял Топтыгин, они наловят в первые же полчаса.

Раскрыл чехол, в котором лежали спиннинги. Сел на камень, оглядывая прекрасные и пугающие горы, близкую тайгу, благоговей перед Творцом, который пустил его в свой священный чертог.

Из горной расщелины пролилась тонкая струйка дрожащего звука. Появился вертолёт, похожий на звонкую осу, сел в стороне на отмель. Из него высадились Топтыгин с компаньоном, в резиновых сапогах и комбинезонах. Двинулись к Лемехову. Вертолёт улетел, словно его сдуло ветром. И стало слышно, как Топтыгин, обнимая гостя, говорил:

— Вы убедились, Антон Афанасьевич, что народ у нас головастый. Вы нам, мы вам. Слово держим.

— Только молчок. Деньги любят тишину.

Они приблизились. Топтыгин жадно взглянул на реку, на спиннинги:

— Давай, Немой, налей нам по сто грамм. Чтобы лучше ловилось. Так, нет, Антон Афанасьевич?

— Сто да сто — двести! — засмеялся гость. Было видно, что они с Топтыгиным уже пьяны.

Лемехов налил в рюмки водку, отсёк от буханки два ломтя, посыпал солью.

— Ваше здоровье, Антон Афанасьевич! Таких людей, как вы, раз, два — и обчёлся!

Он был щедр, хлебосолен. Уже подарил гостю женщину, шамана. А теперь дарил эти горы, реку, божественные скрижали.

Они вышли, извлекли из чехла спиннинги.

— Ты, Немой, бери сетку, ходи за мной. Я на уху наловлю, и ступай, вари.

Река неслась в тёмных воронках. На дне их сверкало солнце. Рыбаки разделились. Гость неумело, путаясь в леске, забрасывал блесну. Топтыгин, отрезвев, острым взглядом ловца прицеливался, кидал блесну, крутил катушку. Было видно, как трепещет под напором воды тонкая струнка.

Первую рыбку Топтыгин поймал почти сразу. Спиннинг выгнулся, леска натянулась. Топтыгин откинулся, крутил катушку. Рыба вспыхнула над водой, взметнулась в пене. Бурлила на конце лески, приближаясь к берегу. Топтыгин выхватил её из воды, она крутилась в воздухе трескучим пропеллером. Топтыгин схватил её левой рукой. Из кулака торчала голова с золотым глазом, извивался слизистый хвост. Топтыгин извлёк из кармана хирургические ножницы и с хрустом надрезал рыбу челюсть, извлекая крючок.

— Ай, ленок! Ай, ленок! С почином! — он повернулся к Лемехову. — Что смотришь, Немой! Подставляй сетку!

Кинул рыбу в сетчатый садок, где рыба, ошалев от боли, ходила ходуном, вставала на голову, брызгала слизью, стараясь пробить ячею, крутила полными ужаса золотыми глазами.

Вторая рыба неслась над водой, как торпеда, оставляя пенный след. Топтыгин вырвал её из реки. Она танцевала у него над головой, выделявая вензеля. Он поймал её, сдавил могучим кулаком. Она не сопротивлялась,

только дрожал зеленоватый раздвоенный хвост. Топтыгин кинул её в садок, торопясь забросить спиннинг.

— Ой, ленок!

Топтыгин поворачивался в разные стороны, прицеливался, метко забрасывал спиннинг, словно знал, где среди чёрно-серебряных воронок плывет рыба. Выхватывал, приговаривая:

— Ой, ленок! Ой, ленок!

Садок отяжелел. Рыбы пахли рекой, слизью. Лемехов страдал, видя, как очередная рыба вырывается с корнем из реки, и в реке, где она плыла, остаётся рана.

У Антона Афанасьевича не ловилось. Он забрасывал на мелком месте. Иногда на крючок попадался клок травы, несколько раз он цеплял крючком себя самого.

Наконец, ему повезло. Пойманная рыба крутилась на леске, то вылетала на поверхность, то исчезала. Антон Афанасьевич тянул, дёргал, издавая торжествующий крик. На мелководье он дёрнул спиннинг, рыба взлетела, сорвалась с крючка, упала на берег у самой воды и стала скакать, подбираясь к реке. Антон Афанасьевич кинулся к ней, ловил руками. Рыба выскальзывала, подбиралась к воде. Антон Афанасьевич падал, стараясь накрыть её грудью.

Лемехов издали следил за этой нелепой схваткой. Взглядом, страстным сочувствием помогал рыбе, будто выхватывал её из рук Антона Афанасьевича, заставлял того спотыкаться, падать. Рыба достигла реки, взбурлила на мелководье и ушла в глубину. Скрылась среди серебристых всплесков.

Антон Афанасьевич поднялся, чертыхаясь, грозя кулаком реке. А Лемехов торжествовал, представляя, как стремительно мчится рыба в холодных потоках.

Уха бурлила в котелке, всплывали белые ломти рыбы. Лемехов разливал уху по пластмассовым мискам. Топтыгин и Антон Афанасьевич пили водку, хлебали уху, обжигались, откидывали рыбы кости.

— Ничего, Антон Афанасьевич, не огорчайтесь. Мы здесь ловим, а вы там, в Москве ловите. Вы там рыбак первоклассный. Такие рыбины к вам попадаются! И президент, и премьер, и вице-премьер. Мы ваши связи отселяживаем.

— Мало связи займешь, их удержать надо, — Антон Афанасьевич, уступивший Топтыгину в искусстве ловить рыбу, демонстрировал свое превосходство в иной, недоступной Топтыгину области. — Здесь к каждому должностному лицу свой подход. Например, президент. Когда с ним говоришь, надо смотреть ему прямо в глаза и говорить очень спокойно. Если в глаза не смотришь, значит, что-то скрываешь. Если нервничаешь, значит, гневаешься на президента. С премьером иначе. Если чего-то от него добиваешься, какую-нибудь схему предлагаешь или делаешь доклад, скажи так, будто ты его собственные мысли излагаешь, его гениальные идеи высказываешь. Это сработает. Он твои предложения примет, как свои собственные. Третье дело — с вице-премьерами. У каждого свой характер, своё слабое место. Вычисли его и бей в яблочко. С одним говори в кабине автомобиля, с другим — в ресторане, с третьим — на яхте, где-нибудь в Средиземном море. Но будь осторожен, держи дистанцию. А то он утонет и тебя за собой утянет.

Антон Афанасьевич важно наставлял внимавшего Топтыгина, а тот хитро поглядывал своими синими бусинками. Кивал Лемехову, чтобы тот наполнил рюмки.

— А что это, Антон Афанасьевич, за история была с Лемеховым? Ведь был большая шишка.

— С Лемеховым мы дружили. Большие дела делали. И в космос, как говорится, вместе летали, и с девками до утра гуляли. Он мужик был крепкий, с головой. Меня к себе звал, но я не пошёл. Чувствовал, что погорит.

— На чём погорел?

— Это тебе знать не надо. Целее будешь. Важно другое. Был человек, государственный муж. С президентом на "ты". А потом сгинул, как будто его и не было.

— Куда же он делся?



— Тоже история тёмная. Одни говорят, что сбежал в Америку и там разгласил государственную тайну. Другие говорят, что его забрали и держат в специальной тюрьме для опасных преступников. Третьи говорят, что он постригся в монахи и живет в каком-то монастыре, на хлебе и воде.

— Вышьем, Антон Афанасьевич, чтобы нам не остушиться, а вот так на природе, на воле, пить и гулять!

Чокнулись, выпили. Антон Афанасьевич топорщил усы, играл кадыком, словно проглатывал кость. Проливал уху себе на грудь.

Лемехова не удивляло, что разговор шёл о нём. При этом его не замечали, его не узнавали, будто его и не было. Будто он был мёртв и не мог опровергнуть небылицу, уличить фантазёра. Он и впрямь был мёртв. Тот прежний Лемехов, честолюбец, дерзнувший мечтать о том, чтобы стать президентом, возмечтавший о величии, был мёртв. Вместо него существовал неопрятный, лишённый речи человек, который чутко прислушивался, как в нём зреет другая личность. Эмбрион, которому ещё только предстоит родиться.

Он почти не замечал этих шумных людей, ворвавшихся в храм Господа и устроивших здесь беспорядок. Горы величаво и грозно наблюдали за ними. Невидимые рыбы неслись в реке. Ворон, пролетая над елями, оглашал тайгу гулким карканьем. Это были духи, знавшие тайну сотворения мира, охранявшие каменные скрижали.

— Ого, Антон Афанасьевич, смотрите, вроде гроза идёт. Как бы нам не застрять здесь. Вертолёт в грозу не летает.

Из-за елей вставала фиолетовая туча с оплавленным краем, и в ней, как зверь в берлоге, ворочался и рокотал гром. Огибая тучу, как металлическая стрекозка, возник вертолёт.

— У меня пилот классный. Я его у пожарных купил, — Топтыгин поднялся, отбрасывая пластмассовую миску, отшвыривая ногой пустую бутылку. — Ты, Немой, здесь оставайся, соберись. Вертолёт за тобой пришлю.

Помог гостю подняться, и оба, обнявшись, прихватив садок с рыбой, пошли к отмели, над которой снижался вертолёт.

Лемехов проводил исчезающую струйку звука, которую оставил за собой вертолёт. Туча медленно выпускала из себя фиолетовые клубы. Солнце било из-под тучи, озаряя каменные скрижали. Они казались отлитыми из золота, с надписями, сделанными на неведомом языке. Но он знал, что начертавший их летописец запечатлел на них всю историю мира от сотворения его до завершения: жизнь каждого человека от рождения до кончины; существование каждой погасшей звезды и той, что ещё не зажглась. Бытие во всей полноте было изложено в каменной летописи, которую ему было дано созерцать.

Лемехов уложил в мешок остатки провизии, посуду, пустые бутылки. Спрятал в чехол спиннинги. Засыпал кострище землёй, чтобы зарубцевался этот крохотный ожог. Не стал складывать палатку, предчувствуя, что близкая гроза помешает вертолёту вскоре вернуться, и ему предстоит здесь ночевать. Снова стал разбирать письма, высеченные всеведающими великанами.

Они рассказывали, как погиб отец на глинистом берегу Лимпоно, упав в её желтоватую воду, и волосы его струились по течению. Как мама, молодая, влюблённая, ждала отца у каменного парапета Фонтанки, и отражённые огни кружились, как золотые веретёна, и туманилось виденье дворца. Как он с женой вернулся с мороза в избу, где исходила жаром горячая белая печь, оконце было в инее, на стене — тени шиповника, и он задышался от счастья, целуя её холодные губы, белые локти, жаркие груди, исчезая в восхитительном обмороке. Письмена рассказывали, как генералиссимус на осеннем параде смотрел на проходящие части и встретился взглядом с пехотинцем в белом халате, и тот, кидаясь под танк, вдруг вспомнил взгляд его прищуренных зорких глаз. А Сталин, умирая в бреду, вдруг пришёл на мгновение в сознание и увидел солдата в халате, его светящиеся голубые глаза. Письмена рассказывали, как в первобытных хвощах лопалось белое яйцо, и из него, скребя зелёными лапками, выкарабкивалась скользкая ящерица. Как колесница, стуча по камням, проезжала Триумфальную арку, а за ней, спотыкаясь, бежал пленённый царь.

Лемехов переводил взгляд с горы на гору, с одной каменной страницы на другую, стремясь прочесть своё будущее. Не то, где станут туманиться, гаснуть глаза, и мысли, путаясь, сложатся в последний рисунок. А то будущее, что ждёт его в новой жизни, после всех потрясений и утрат.

Одна строка с её каменной вязью, озарённая солнцем, ярко светилась. Строка начиналась с буквицы. В этой буквице пламенели цветы, наливались плоды, перелетали волшебные птицы. В этой буквице синело море, плыли корабли, сияли дворцы и храмы. Она была обетованной землёй, куда стремилась его душа. Лемехов хотел понять, где находится эта земля, как связано с ней его возрождение. И вдруг прозвучало из скалы, или из тучи, или из глубины его сердца: “Крым”. Не тот, что был нанесен на карты, а Крым Небесный, Крым Предвечный, тот, в котором воскреснет его душа.

Это длилось мгновение. Солнце зашло за тучу. Скала погасла. Письмена слились в неразборчивые тёмные линии.

Туча встала, заслонив небо, вываливая на горы мешки, полные чёрной тьмы. Дунул ветер, прилетев с полосу, где не таяли льды, хлестнул в лицо. Лемехов залез в палатку, слыша, как дрожит небо от тяжёлых ударов.

Дождь то вливался в палатку, то, ослабевая, отлетал. И вот гроза грянула всей своей громающей мощью, вспышками света, которые прожигали палатку. Снаружи ревело, ахало, скрежетало, но Лемехову не было страшно. Кругом бушевали проснувшиеся духи, и они не гневались, а благодарили его за спасённую рыбу. Сама избавленная от гибели рыба молнией металась в реке.

Лемехов вышел из палатки под дождь. Его валило, плескало в глаза огненные ковши. Горы ломались, двигались, скрежетали одна о другую. Молнии падали в реку, и она несла ртутное пламя, в котором металась рыба. Духи гор и вод, огня и ветра славили Лемехова, клали ему на голову каменные ладони, сжигали вокруг него воздух, носились на огромных свистящих крыльях. Он ликовал, славил духов, благоговел перед могуществом Божьим.

Гроза ушла, ворочая вдалеке глыбы. Дождь ровно шумел, и Лемехову, залезшему в спальный мешок, было чудесно.

Утром он проснулся на рассвете, когда горы ещё были черными, но ели на вершинах уже нежно золотились. Река несла тёмно-синяя от недавнего ливня. Лемехов смотрел, как течёт вдоль реки туман. И вдруг увидел, как из тайги вышел медведь. Огромный, лиловый, с заостренной мордой, могучей косматой спиной. Встал на опушке, вытянул голову, втягивал воздух. Лемехов видел, как раздуваются его тёмные ноздри, как слабо поблёскивает шерсть на загривке. Узнавал его. Это был тот самый медведь, которого он застрелил на овсах. Но теперь он воскрес, и духи привели его к Лемехову, чтобы тот узнал: ещё один его грех искуплен.

Медведь постоял, чутко вдыхая воздух. Мягко развернулся и исчез в тайге.

### Глава тридцать пятая

Он устроился рабочим в археологическую экспедицию на раскоп среди округлой низины, окаймлённой холмами. В чаще, чьи края очерчивала округность холмов, под рыжими травами и горячей почвой находились древние поселения — гончарные мастерские, плавильные цеха и оружейные кузницы. Целые города с храмами, обсерваториями, погребениями, занесённые прахом пустыни.

Всё это звалось Аркаимом. Рабочие, и вместе с ними Лемехов, рыли грунт, грузили на тачки землю, отвозили в сторону, пробираясь к деревянным мостовым и крепостным частоколам. Посреди открытого солнцу и ветру раскопа находился шатёр, где скрывалась находка, к которой не подпускали ни рабочих, ни редких добредавших до раскопа зевак. Здесь всегда дежурил охранник, полог шатра был всегда опущен.

В шатёр допускали только начальника экспедиции Игоря Станиславовича Ждановича, который добирался до раскопа на вихляющей старой “Тойоте”. Он был сухощав, коричневый, как прокопченное дерево, с семью бро-

вами, из-под которых смотрели усталые внимательные глаза. Его полотняный костюм продувался ветром. Белая панاما делала его похожим на чеховского дачника. Через плечо висела полевая сумка времён войны. Он скрывался в шатре и пребывал в нём часами. А когда выходил, его лицо было исполнено тихого блаженства, как у верующего при выходе из храма.

Говорили, что в шатре находится великолепный гончарный сосуд, испещрённый орнаментом. Или боевая колесница с двумя деревянными колёсами, окованными железом. Или плавильный горн с остатками золота. Жданович мало говорил с землекопами, только указывал, где копать и куда отвозить землю. Лемехов гадал, какая тайна скрывается в шатре и полевой сумке профессора, какие переживания делают его усталое лицо восхищённым.

В бригаде землекопов, где работал Лемехов, были люди, приехавшие в Аркаим, чтобы напитаться волшебной энергией земли и небес, испытать космическое блаженство, преодолеть недуг и уныние. Здесь были молодые супруги из Астрахани Андрей и Женя. Она страдала бесплодием и надеялась под живительными звёздами Аркаима обрести потомство. Богатырского вида, светлокудрый, с курчавой бородкой, Аристарх из Перми исповедовал культ языческих богов и явился в Аркаим, чтобы поклониться божеству Солнцу. Маленький, с круглым милым лицом москвич Алексей был православным и считал, что отсюда, из Аркаима, вышли волхвы, чтобы возвестить миру о рождении Христа. Инженер Столбовский из Петербурга считал, что Аркаим является прародиной европейских народов, и Россия в споре с Европой обладает правом первородства. Архитектор Иосиф проектировал города будущего, в том числе космические поселения. Блаженный Ефим из общества “вселюбов” проповедовал любовь к людям, камням и животным. И ещё в бригаду пристроился слепой из Твери, баррикадник Вадим, потерявший зрение во время боёв у Белого Дома. Он не работал, а днями сидел на краю раскопа, похожий на сутулую птицу, не способную летать.

Все они ждали от Аркаима чуда, как и сам Лемехов, душа которого взростала к свету после падения во тьму.

Лемехов принёс флягу с водой охраннику, дежурившему у входа в заповедный шатёр. Полог шатра был опущен, таинственный экспонат оставался сокрытым, но Лемехову казалось, что вокруг шатра слабо светится воздух, будто из шатра исходило загадочное излучение.

Он собирался уйти, но в степи, переваливаясь на ухабах, показалась машина. Приблизилась. Из неё вышел профессор Жданович в своей неизменной панаме, с полевой сумкой через плечо. Следом появилась молодая женщина в сарафане с полуоткрытой грудью, пышными, выгоревшими на солнце волосами. Им сопутствовал оператор с телекамерой.

Они приблизились к шатру. Лемехов видел, как хмурится профессор, как игриво, словно поддразнивая его, поводит плечом журналистка. Оператор поднял камеру, начиная работать.

— Мне кажется, Игорь Станиславович, вы недовольны моим появлением, — улыбалась журналистка, поправляя на бронзовом плече тесьму сарафана.

— Признаться, я не очень люблю общаться с журналистами, — хмурил седые брови профессор. Его коричневое, провяленное на солнце лицо не скрывало раздражения.

— Но ведь вы заинтересованы в том, чтобы о вашем открытии, о вашем Аркаиме узнало как можно больше людей?

— Аркаим не нуждается в рекламе. Он сам о себе оповещает.

— Вы говорите об Аркаиме, как о разумном существе.

— Аркаим скрывался тысячи лет и именно теперь себя обнаружил. У Аркаима собственное представление о времени, и он живёт по часам, которые отсчитывают вечность.

Журналистка пленительно улыбнулась, давая понять, что напыщенные слова профессора кажутся ей забавными:

— Завтра, в день солнцестояния, тысячи людей, приехавших в Аркаим, поднимутся на гору Шаманку, чтобы встретить солнце. Ведь это новое язычество, не так ли? Вы создали этот языческий культ.

— Я скромный учёный, обычный археолог. Аркаим позвал меня, почему-то выбрал из сотен других. Через меня Аркаим обратился к людям. Люди его услышали, и теперь стекаются сюда со всех концов земли. А я только служу Аркаиму, выполняю его волю.

— Аркаим — божество, а вы его жрец. Я правильно вас поняла?

Оператор переводил телекамеру с нелюбезного, раздражённого Ждановича на сияющее, ироничное лицо журналистки. Было видно, что она испытывает легкомысленное любопытство к чудаку, проводящему свой век среди могильников. Для неё эта поездка в дикую степь была случайной. Она забудет об этом курьёзном человеке, вернувшись в столицу, где получит новые задания, станет готовить сюжеты о кинофестивалях, театральных премьерах, блистательных художниках и режиссёрах. Её профессия помчит её по другим городам и странам. Там мимолетно она познакомится с именитыми кудесниками, быть может, влюбляя их в себя, пленяя светом зелёных глаз, певучим голосом, доступной очаровательной женственностью.

— Но как относиться, Игорь Станиславович, к мнению видных учёных, ваших коллег, которые считают, что Аркаим, — как бы это помягче выразить? — считают, что это блеф. Вы создали блеф Аркаима, чтобы приобрести популярность, снискать расположение властей? — она мило улыбалась, зная, что вопрос ранит профессора. Причиняя ему боль, она испытывала удовлетворение, полагая, что эта боль сделает репортаж живым и привлекательным для публики. — Я даже слышала, как вас называют “шутком из Аркаима”. Ещё раз простите, это не я говорю.

— У Аркаима много врагов, — хмуро ответил Жданович. — Аркаим родился раньше Трои, раньше еврейской Торы. Летоисчисление Ветхого Завета опровергается. Мир сотворился здесь, а не в Месопотамии. Поклонники Ветхого Завета отождествляют меня с Аркаимом. Унижая меня, они хотят унижить Аркаим. Но нельзя унижить Солнце. Долгие тысячелетия Аркаим был невидим, скрывался от глаз людских. Но теперь, когда он решил выйти из тьмы, его нельзя скрыть. Он встаёт, как солнце. Солнце нельзя посадить в тюрьму.

Журналистке нравились эти ответы. Они казались напыщенными и потому уязвимыми. Её милая ирония и наивная женственность обесценивали истовость и одержимость жреца. В её сверкающих репортажах не было места для путающих истин, ради которых люди идут на крест. Лемехову, который слушал их разговор, журналистка казалась стрекозкой, нарядной, с прозрачными крыльями, которая присаживается на каменное изваяние, чтобы тут же взлететь.

— Я слышала, что вас хотят отлучить от Церкви. Один православный епископ называет вас язычником и богоборцем. Будто вы превратили Аркаим в огромное капище, куда стекаются язычники всех мастей. Вы действительно глава секты огнепоклонников?

— К Аркаиму стекаются люди, исповедующие любовь. Солнце — это любовь. Солнце — это Христос. Отсюда вышли когда-то три волхва, направляясь в Вифлеем, чтобы восславить Рождество Христово. Отсюда поднялась в небо Вифлеемская звезда и вела волхвов к яслям, где родился Христос. Среди людей, которые завтра взойдут на гору, будут христиане, мусульмане, буддисты. Господь направил свой благодатный свет во множество людских сердец, но все лучи исходят от единого Солнца.

Лемехову казалось, что словам профессора вторят озарённые светом холмы, ароматы полыни, высокое небо, которое чуть слышно звенело, будто из него на землю изливался незримый ручей. Профессор был переводчиком, знавшим язык камней, трав, степных птиц, воспроизводившим переливы небесных звуков. Профессор был избран, чтобы перевести людям волшебный язык Аркаима.

— Я попрошу вас, Игорь Станиславович, расскажите теперь, что это за место такое, Аркаим? Кто такие арии? Откуда они взялись и куда делись? Только, Бога ради, языком понятным даже таким невеждам, как я. Может, и я стану огнепоклонницей, — она посмотрела на солнце, которое играло на её обнаженном плече, стекало в вырез сарафана на полуоткрытую грудь. Бы-

ло видно, что рассказ профессора она заранее обрекла на утончённое осмеяние. Лемехову казалось, что Жданович сейчас повернётся и уйдёт, чтобы избегнуть насмешек, и его выцветшая панاما забелеет среди рыжих холмов. Но он остался, позволяя оператору снимать своё утомлённое лицо, свои пыльные башмаки и коричневые, как корневища, руки.

— Вы видите этот круг, очерченный холмами? Мы находимся на дне чаши, края которой уходят ввысь. Мы на дне колодца, соединяющего небо и землю. Сюда с небес льются потоки небесных сил, оплодотворяют землю, влияют на земную жизнь, создают всё новые и новые формы земного бытия. Все, кто посещает Аркаим, чувствуют эти небесные лучи. Иным кажется, что их живыми берут на небо. Другие перемещаются из настоящего в прошлое. Третьи общаются со своими умершими пращурами. Аркаим — это око,зирающее с неба. Быть может, и вы почувствуете волшебство Аркаима, если он увидит в вас любящее сердце.

Журналистка собиралась вставить ироничное словечко, которое подействовало бы, как песчинка, влетевшая в глаз Аркаима. Но словечка не нашлось. Губы её тесно сжались, словно их кто-то запечатал. А Лемехов вспомнил мгновение невесомости, которое пережил, оказавшись на дне волшебной чаши.

— Пять тысяч лет назад, сюда, на Южный Урал с севера пришло изнурённое племя, — профессор не лекцию читал, а вёл сказ: он говорил голосом сказителя, нараспев. — Племя покинуло чудесную землю, которую Гесиод называл Гипербореей. Это была заполярная земля, где росли тропические леса, растиались райские дуга, обитали райские звери. И вдруг наступило похолодание. Леса замёрзли, дуга покрылись льдом, звери погибли. Племя гипербореев покинуло свой рай и ушло на юг, теряя по пути соплеменников, редая и дичая. Но явившись сюда, в Аркаим, оно попало под воздействие благодатных лучей, преисполнилось космических сил. Стало размножаться, обзавелось городами и обсерваториями, гончарными мастерскими и литейными цехами. Совершило открытие, которое изменило ход мировой истории: изобрело колесо, построило колесницу, и лошади, запряжённые в колесницы, стали стремительно переносить людей из края в край. Когда арии умирали, их хоронили в позе эмбриона, ибо они возвращались в матку, их породившую. Перед глазами покойника кляли кристалл горного хрусталя, который преломлял луч солнца и соединял мир живых с миром мёртвых. Когда чаша Аркаима наполнилась до краев, народ, именуемый ариями, двинулся из этих мест на освоение новых земель. Одни арии, унося с собой великие стихи “Ригведы”, устремилась в Индию. Другие, унося свитки “Авесты”, двинулась в Иран. Так арии распространились по миру, создав несколько великих цивилизаций. Здесь, в Аркаиме, в этой матке, оплодотворённой Космосом, зародилось современное человечество, к которому принадлежим и вы, и я.

Профессор Жданович начинал свой рассказ угрюмо, тусклым голосом, уязвлённый насмешками прелестной женщины. Но потом его голос зазвенел, певуче вознёсся, как у проповедника, черпающего вдохновение у божества. Суровое лицо его преисполнилось света, которым озарялись солнечные холмы Аркаима.

— Вы говорите, арии. Арийские племена. Но разве это не отдаёт фашизмом? Я слышала, сюда приезжают молодчики со свастикой на рукаве. Они поклоняются не солнцу, а Гитлеру. Вас это не пугает? — журналистка смотрела на Ждановича враждебно, с тёмным страхом в глазах, будто Аркаим угрожает её собственному благополучию, став помехой её увлекательной жизни, лишая её успеха, мужского обожания.

Жданович заметил этот страх. Теперь он раздумывал, продолжать ли рассказ, раскрывая тайну Аркаима этой поверхностной женщине, или замкнуться, уйти прочь, унося с собой эту тайну.

— Аркаим — это место, где камень становится хлебом, вода — вином, трус — храбрцом, остывший — огненным, слепец — пророком, грешник — угодником Божиим. — Голос профессора гудел, как труба. Он воздел руку, и казалось, пальцы его исполнились электричества, и по ним пробежала вспышка. — Об Аркаиме намекали древние тексты. Аркаим присутствовал

в учениях и пророчествах древних народов. О нем подозревал Гитлер, исследуя древние карты Урала. Величайшей тайной минувшей войны был стратегический маневр германской армии, которая, не взяв Москву, не обезглавив Россию, устремилась вправо в бескрайние степи Поволжья. Гитлер хотел захватить Аркаим, хотел захватить колодец, ведущий на небо, хотел подключиться к неиссякаемой энергии Космоса, чтобы стать властителем мира.

Журналистка смотрела на профессора остановившимися глазами, будто смуглолицый кудесник околдовал её. Она не понимала смысл услышанных слов, но была околдована гудящим голосом, горькими степными ароматами, низким солнцем, от которого на холмы легла волнистая тень. И казалось, холмы шевелятся, как накрытые кошмой великаны.

— Сталин знал о существовании Аркаима на южном Урале и бросил на Волгу, наперерез Гитлеру Советскую Армию. Чудовищная битва у Сталинграда была битвой за Аркаим, за мировое владычество. Аркаим принимал участие в битве и был на стороне России, поэтому Сталин одолел Гитлера и низверг его в ад. Красное знамя Победы — это знамя Аркаима. Но Сталин не успел послать археологов и открыть Аркаим. Советский Союз исчез, не сумев подключиться к источникам небесных энергий.

— Вы мне рассказываете миф? — погасшим голосом спросила журналистка без прежней игривой иронии. — Вы не воспринимаете меня всерьёз?

— Вы изменились на глазах. Аркаим вас изменил. Он изменяет всех, кто к нему приближается: маловер становится верующим, легкомысленный человек — углублённым, эгоист — самоотверженным. Я отношусь к вам с большим почтением. Нас познакомил Аркаим. Значит, ему это было угодно.

Лемехов видел, как переменялась молодая женщина, которая являлась сюда, как являлась всегда в весёлые компании обожателей и друзей. В ней было что-то от прелестной танцовщицы, выставившей напоказ свои гибкие запястья и голые плечи. Теперь же она выглядела робкой, неуверенной, как прихожанка, первый раз заглянувшая в храм.

— Аркаим является бесценным достоянием России. Здесь зародились великие народы, сложились цивилизации Индии, Ирана и Европы. Сюда, в Аркаим, влечёт их реликтовая память, как птиц, никогда не забывающих места своих гнездовий. Как знать, если Европа станет уходить под воду, и океан зальёт европейские столицы, не сюда ли хлынут потоки европейских беженцев спасаться на своей прародине? Россия примет беженцев. Аркаим напитает их небесными злаками.

Смирненная прихожанка стояла перед Ждановичем, который теперь стал терпеливым пастырем. Ему была дорога любая душа, признающая волшебство Аркаима. И Лемехов был прихожанином этой таинственной церкви, окруженной холмами, под куполом бледного неба, из которого нежно сочилась лазурь.

— Россия богата нефтью, лесом, алмазами. Она добывает энергию на атомных станциях. Но существует бездонная кладовая энергии — небо над Аркаимом. Здесь нисходят на землю потоки энергии из бездонного Космоса, которые питают империи. Здесь зарождались великие империи прошлого. Здесь зародится великая империя будущего. Сюда в скором времени явится лидер, которого Аркаим вдохновит на создание новой империи. Я не знаю, кто этот лидер. Может, он едет в раскалённом автобусе среди изнурённого люда. Может быть, завтра он вместе с нами пойдёт на гору встречать рассвет. Может быть, он работает у меня на раскопе.

— А может быть, это вы? — с обожанием спросила журналистка.

— Не я, — ответил профессор. — Я всего лишь слуга Аркаима. Я растворил его запечатанные веки.

— А как вы нашли Аркаим? Это было похоже на чудо?

— Это и было чудо. Его искали столетиями и не могли отыскать. Сюда проникла тайная экспедиция “Аненербе”, но ничего не нашла. Здесь ходили археологи НКВД, но и они ничего не нашли. Сюда приезжали маститые археологи мира, предчувствуя спрятанную в этих степях родину ариев, но ничего не нашли. Аркаим открылся мне. Бог весть, за какие заслуги.

— Как это было?

Профессор смотрел на женщину, словно хотел убедиться, что в ней совершается преобразование. Она испуганно ждала его слов, боясь, что не дожждётся их, и он уйдёт, оставив её в вечерней степи, не завершив свой сказ.

— Как это было? — умоляюще повторила она.

— Я исходил пешком эти холмы, ощущал их все руками в надежде найти хоть малый признак той “страны городов” — Гардарики, — о которой свидетельствовали древние поэмы. Всё тщетно. Пора было покидать эту степь. В Москве в это время шла перестройка, гудели толпы, трещали основы государства. Уходил в небытие Советский Союз, красная империя. Я ждал машину, чтобы уехать навсегда из этих мест. И в последнюю ночь перед отъездом мне приснился сон. Мне явился отрок, светлый лицом, с золотой перевязью на лбу, какую носили огнепоклонники. И говорит: “Полети! Полети!” Я просыпаюсь и понимаю, что он зовёт меня пролететь над холмами. Но где взять самолёт? Выхожу из палатки и вижу маленький двукрылый самолёт сельскохозяйственной авиации. Трещит мотором, подкатывает прямо к палатке. Лётчик из кабины машет мне, дескать, садись! Мы воспарили над степью, и сверху я вижу эту “страну городов”. Вижу множество кругов и квадратов, очертания поселений и храмов, линии дорог и каналов. Лётчик повернулся ко мне, и я вижу: у него из-под шлема золотится перевязь. Земля вдруг стала прозрачной, как стекло, и я с высоты увидел убранство жилищ, гончарные мастерские с сосудами, плавильни со слитками меди, колесницы на лёгких деревянных колесах, погребения, где в позе эмбрионов лежат усопшие, и перед их глазами мерцают кристаллы горного хрусталя. Я сделал фотографии. Мы облетели степь. Самолёт посадил меня у палатки и скрылся, и я больше никогда не видел этого пилота. С огромными трудами я организовал экспедицию и открыл этот волшебный город по имени Аркаим. К этому времени исчез Советский Союз. Но Аркаим показал себя людям, чтобы положить начало новой евразийской империи, идущей на смену ушедшей.

Профессор Жданович умолк, и его лицо под панамой было величественным и спокойным, как у того, кто исполняет великий завет, волю Творца.

— Это чудо! Вам было явлено чудо! — журналистка смотрела на профессора с обожанием, как порой прихожанки пламенно взирают на любимого пастыря. — Быть может, лётчик с золотой повязкой был Ангелом небесным?

— В Аркаиме все становятся ангелами.

— Я слушала вас. Вначале не верила. Мне наговорили о вас много дурного. Теперь я знаю, что это были плохие люди, а вы святой! — она протянула к нему руки, словно хотела обнять. Но не решилась и молитвенно сложила их на груди. — Позвольте мне остаться с вами. Поручите мне любую работу. Я могу копать землю, варить еду, ухаживать за вами. Я хочу вместе с вами быть в Аркаиме!

Профессор кивнул, и было неясно, оставляет ли он эту женщину подле себя или в который раз убеждается в чудодейственной силе Аркаима, превращающего воду в вино.

— Ступайте за мной, — сказал он.

Они приблизились к шатру. Охранник по знаку профессора поднял пол. И Лемехов увидел в свете красноватого солнца в сухой земле погребение. Хрупкий скелет с мучнистыми ребрами лежал в позе эмбриона, приблизив костяные колени к подбородку желтоватого черепа. Череп улыбался. Перед его пустыми глазами драгоценно сверкал кристалл горного хрусталя, улавливая луч залетевшего в палатку солнца.

— Это арий, от которого повелось новое человечество, — сказал профессор.

### Глава тридцать шестая

Лемехов шёл в толпе. В темноте не было видно лиц, но рядом качался тюрбан, ниспадало до земли покрывало. Казалось, по дороге шли древние племена, двигались воскрешённые народы. Разверзалась земля, открывались усыпальницы. Из них выходили усопшие, облечённые в плоть. Лемехову чу-

дился сырой земляной запах тления, ветхих одежд. Что-то слабо мерцало, быть может, кристаллы горного хрусталя. Мёртвые присоединялись к живым. Все торопились к горе, чтобы восславить божество, которое посылало впереди себя золотую вестницу.

Гора приближалась. В темноте её склоны шевелились, покрытые восходящей толпой. Вершина, чёрная на фоне зари, колебалась от множества бредущих по ней людей.

Лемехов задыхался. Его влекла заря. Её незримые алые руки поддерживали его, помогая взбираться на кручу. Подхватывали, когда он спотыкался. Отводили в сторону от тёмных расселин.

Он неотрывно смотрел на зарю. В ней — розовой, золотой — звучали слова, обращённые к нему. Слова величественные и певучие, в которых раскрывалась тайна сотворения мира. Лемехов был причастен к этой грозной и восхитительной тайне. Его путь на гору складывался с бесчисленными дорогами и путями, по которым он шагал, плыл и летел. Но заря, её алые и золотые слова, её волшебная тайна приближались из будущего. Заря освещала путь, тот, который совершала душа его от рожденья до смерти и дальше, в бесконечном бессмертном странствии.

Он вошёл на вершину. Там было множество людей, и казалось, от их колыханья гора качалась. По другую сторону горы открывалась низина, над которой пламенело небо. Низина была в тени, но тонкая струйка реки зеркально сверкала, отражая зарю. Множество людей сидело на склоне, обратив лица к заре. Они были похожи на оцепеневших недвижных птиц, сидевших на гнёздах.

На самой вершине двигался непрерывный людской хоровод. Камнями была выложена просторная спираль. Люди входили в устье спирали и шли по кругу, медленно, виток за витком, приближаясь к центру. Глаза у некоторых были закрыты, словно их вёл поводырь. Другие смотрели в небо, произнося невнятные молитвы. Достигая центра спирали, они замирали, вознося руки, словно прикасались кончиками пальцев к небу. Потом выходили из спирали и садились на склон лицом к заре, как заколдованные птицы.

Лемехов ступил в спираль. Перед ним шёл огромного роста казах, босиком, в пестрой шапочке. Он старался не наступить на босые пятки женщины в восточном одеянии. Лемехов сделал несколько шагов, и почувствовал, что его захватил бесшумный вихрь, закрутили действующие в спирали силы. Словно с небес прилетало мерцающее излучение, закручивалось спиралью, набирало силу, пронзало идущих людей.

Ему стали являться видения, словно во сне. Он увидел комнату давно умершего деда, в которой побывал только раз, но теперь отчётливо видел фарфоровую настольную лампу с шелковым абажуром. На стенах висели картины. Серебряная ложечка с монограммой преломлялась в чашке чая. Лицо деда замерло с полукруглым ртом, будто он не успел произнести какое-то слово.

Он увидел мраморный памятник на каком-то безвестном кладбище. На мраморе отчётливо была выведена фамилия “Лемехов”, в углубления букв набилась пыль.

Потом его закрутило, как на карусели, он поднялся ввысь и увидел землю, голубую, с завитками облаков, и понял, что перенёсся в Космос.

Начались вспышки, напоминавшие шаровые молнии, и эти вспышки были одушевлёнными, у них была душа, и он испытал от встречи с ними блаженство.

Он достиг центра спирали и встал рядом с казахом, воздев, как и он, руки к небу.

Ещё недавно, в прежней жизни, он занимался Космосом, готовил ракеты и аппараты для космического рывка. Но теперь он находился в Космосе без ракет. Космос сам явился к нему, на вершину горы. Аркаим был космическим кораблем, который приводился в действие волшебной спиралью.

Испытывая чудную невесомость, он покинул спираль и сел на склон, глядя на бесшумную зарю. Она росла, разгоралась. От неё поднимались волны — алые, золотые, розовые. Божество приближалось. Люди вставали



с земли, звали его и славил. Лемехов видел, как Женя раскрыла живот, подставляя его заре, чтобы целительная сила оплодотворила её. Язычник Аристарх воздел руки, безмолвно возглашая хвалу. Паломник Алексей восхищённо смотрел на зарю и читал “Отче наш”. Слепец Вадим обращал к заре свои стиснутые глаза, ожидая, что алые капли света проникнут сквозь тьму. Казах в разноцветной шапочке стоял на молитвенном коврике и молился. Буддист в оранжевой хламиде гудел свои песнопения. Все волновались, ликовали, славил восход божества.

На горе появился профессор Жданович, всё в той же помятой блузе и панаме. За ним следовала журналистка, с обожанием глядевшая на любимого пастыря. Жданович извлёк книгу, на её кожаном переплёте блеснула отгиснутая золотом надпись: “Ригведа”. Жданович раскрыл книгу так, чтобы заря освещала страницы, и стал читать:

*Смотри, ночь уходит.  
И восходит на своё ложе заря.  
Вот льётся свет,  
Наилучший из всех светов.  
Огонь утренний, лучистый.  
Заря блестящая, пришла она.  
Вся белая, со своим телёнком.  
Чёрная ночь уступает ей своё место.*

Жданович читал восторженно и певуче, как читают священную книгу. Все сошлись к нему, ловили вещие слова. Он был вероучитель, он привёл на вершину горы свой народ. Он проповедовал им религию зари, благую весть Аркаима. Лемехов чувствовал, как приближается что-то огромное, могучее, лучезарное. Не только там, за горизонтом, где пылала заря, но и в его душе, истомившейся, верящей, ожидающей чуда.

*Заря появилась, сияющая.  
Она разбудила живущий мир,  
Показала нам богатства.  
Заря разбудила все существа.  
Она заставляет встать лежащего,  
Другого заставляет искать пищу.  
Слабому зрением показала дали,  
Другого послала добиваться владычества.  
Того — славы, этого — почестей,  
А иного побудила идти куда-то в путь.*

Лицо Ждановича, озарённое светом, казалось властным и грозным. Его блуза и панаме, залитые алым светом, казались облачением жреца. Лемехов испытывал ликование. Могучая сила рвалась из него навстречу восходящему солнцу. Одно светило выходило над горизонтом, распахнув зарю, другое — в его душе. Два солнца готовы были слиться в одно.

*Это дочь небес явилась в свете,  
Юная женщина в яркой одежде,  
Та, что царит над всеми благами.  
Счастливая заря сияет над землёй сегодня,  
Она идёт дорогою прошлых зорь.  
Сияя, она оживляет того, кто живёт,  
Но того, кто мёртв, заря оживить не может.  
Они ушли, смертные,  
Видавшие зори прошлого.  
Это нам теперь позволяет она любоваться собою.*

Из-за далёких холмов возник красный огонь. Окружённое зарей, наконец, появилось солнце — пылающий свет хлынул в долину. Река сверкнула, как расславленное стекло. Гора, озарённая солнцем, ахнула. Лемехов почув-

ствовал, как рванулась в груди скопившаяся немота, ударила бурно наружу, сначала клёкотом, потом рыданием, а потом неудержимым извержением стихов. Пушкинских, полузабытых, из детства, из книжек, что читала бабушка, из маминого потрёпанного томика, из тех стихов, что разучивала жена, собираясь на праздник. Лемехов смотрел на солнце, грудь его сотрясали рыдания, и он громко, боясь, что его вновь покинет дар речи, читал:

— “Горит восток зарею новой!..” “Да здравствует солнце, да скроется тьма!..” “Волхвы не боятся могучих владык!..” “Мороз и солнце, день чудесный!..” “Сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою!..” “Три девицы под окном прями поздно вечером!..” “О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями!..” “Как мимолётное виденье, как гений чистой красоты!..”

И совсем неведомое ему, Бог весть откуда залетевшее в его озарённую память: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел нереиду...”

И вслед за этими волшебными стихами полыхнуло беззвучно: “Таврида! Крым!..”

Он стоял на горе, среди всеобщего ликованья и рыдал, счастливо повторяя: “Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду...”

### Глава тридцать седьмая

Он шел по открытой степи, в жарком безлюдье, без дорог, без тропок, куда глаза глядят. Башмаки его были в пыли, к одежде прилепились колючие семечки степного бурьяна. Ему было легко и свободно. “Как птице небесной”, — думал он, не ведая, где обретёт ночлег.

Вдруг он услышал в небе тихий стрёкот. Маленький вертолёт делал круг над ним, мерцал на солнце колпак кабины, трепетал стеклянный круг винта. Вертолёт совершил над его головой дугу и стал снижаться. Сел неподалёку, окружённый солнечной пылью.

Из-под винта вышел человек, пригибаясь, направился к Лемехову. Тот встал. Человек приближался. На нём была светлая рубаша и свободные брюки. Он закрывал ладонью глаза, защищаясь от пыли, и Лемехов не мог разглядеть его лица. Человек подошёл ближе, опустил руку, и Лемехов узнал в нём генерала Дробинника: всё то же бледное узкое лицо без загара, розовый шрам, прозрачные глаза, в которых притаились чёрные точки-мишени.

— Здравствуйте, Евгений Константинович, — произнёс Дробинник, не подавая руки.

— Как вы меня нашли, Пётр Тихонович? — изумился Лемехов.

— Я никогда не выпускал вас из вида. Вы слишком заметны, Евгений Константинович, чтобы потеряться.

Кругом была солнечная пустота, без дорог, без телефонных вышек и высоковольтных опор. Было неясно, чей глаз, чей зоркий окуляр мог следить за Лемеховым в этом безлюдье.

— Я не должен был спрашивать, Пётр Тихонович. Вы же “всевидящее око”, “око государево”. Чем я могу быть вам полезен?

— Президент Юрий Ильич Лабазов просит вас вернуться в Москву и приступить к работе.

Лемехов не удивился, остался равнодушным к услышанному. Его звали туда, откуда он ушёл навсегда, где его больше не было, в то прошлое, которое сгорело дотла.

— Я забыл, чем занимался, Пётр Тихонович. Я не умею делать то, о чём просит меня президент.

— Вы очень нужны президенту, Евгений Константинович. Очень нужны государству.

— Но что произошло? Я не оправдал доверия президента, и он отвернулся от меня. Он был прав. Я совершил много ошибок, много о себе возомнил, нарушил неписанные законы. Он поступил справедливо, и я смирился с его справедливым решением. Теперь я другой человек. Я не могу вернуться в то место, которого для меня больше нет.

— Президент зовёт вас и просит встать рядом с ним. Предстоят огромные перемены, огромный поворот. Этот поворот будет столь крут, что многие не удержатся на палубе, и их снесёт. Другие будут так потрясены переменами, что утратят дееспособность и окажутся ненужным балластом. Третьи обратят свою ненависть на президента и постараются его уничтожить. Он считает вас выдающимся деятелем, настоящим государственным, сыном Отечества. Вы очень нужны ему.

— Какие же грядут перемены?

— Вы встретитесь с президентом, и он сам вам расскажет. Русское государство достигло в своём развитии такого уровня, что оно способно ставить перед собой огромные цели. Во внешней политике, в оборонной сфере, в развитии самого государства. Нам предстоят деяния, которые изменят роль России в современном мире. Мир ждёт от России нового слова, и Россия произнесёт это слово.

Лемехов смотрел в прозрачные глаза генерала, на дне которых чернели икринки. В них таилась опасность, но она не пугала Лемехова. Он был неуязвим. В нём больше не было честолюбия, не было азарта и страсти, которые прежде управляли его поступками. Он изжил в себе погоню за успехом, неутолимое стремление к власти, восприимчивость к мифам, объясняющим судьбу России. Он знал теперь многое о конце времён, знал, как свищут соловьи на рассвете и как теплится нежно в руках лёгкое тельце младенца. Он прочитал письма в огромной каменной книге, где говорилось о сотворении мира и о месте человека в этом мире, о месте сверкающей рыбы и медведя в сиреновом тумане реки. Он встречал солнце на божественной горе и узнал, что такое бессмертие.

Он хотел проститься с Дробинником и идти дальше в своём одиночестве, унося с собой драгоценное знание.

— Как чувствует себя президент?

— Прекрасно. Он полон сил и замыслов. От него исходит энергия, словно он преобразился. Возвращайтесь в Москву, Евгений Константинович.

— Да, я хотел вас спросить. Вы ничего не знаете о господине Верхоустине? Кажется, он Игорь Петрович?

— Нет, почти ничего не знаю. В одной калифорнийской газете было написано, что Верхоустин погиб в автомобильной аварии где-то в районе Сан-Диего. Больше мне ничего не известно.

— Ну, прощайте, Пётр Тихонович.

— Подумайте, Евгений Константинович, о предложении президента. Я найду вас через несколько дней.

Дробинник повернулся и пошёл к вертолёту.

Вертолёт взмыл, сверкнул на вираже и скрылся, рассыпав над степью звенящую пыль.

Лемехов шёл по вечерней степи, и его тень убегала в красноватую даль. Он утомился и лёг на землю. Раскрыл руки крестом. Одна рука уходила на восток, через великие равнины и реки, сибирские города и озёра, к Китаю, который вздымал свои небоскрёбы, развёртывал могучие армии, выплёскивал в мир стужки раскалённой энергии. Другая рука уходила на запад, касаясь готических храмов, великих европейских столиц, священных камней, которые веяли красотой и вечной распрей, предвестницей войн и нашествий. Его ноги протянулись к Ирану, к зелёным изразцам и зеркальным мечетям, к атомным центрам и танкерам, плывущим в горячих водах. Его голова покоилась на подушке полярных льдов, под радугами негасимых сияний.

Он был огромной страной, которая его породила, обрекла на любовь и боль, на будущую смерть и бессмертие. Он не знал своего будущего и будущего великой страны. Но оно, безымянное, приближалось, вовлекало в себя всю его боль и любовь. И там, впереди, в том будущем, которое его поджидало, восхитительно и волшебно звучало дивное слово “Крым”.